

# ГОЛОВЫ МОИХ ДРУЗЕЙ

альберт

мифтахутдинов





51724

БИБЛИОТЕКА  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА № 1

альберт  
мифтахутдинов

рассказы  
повесть

головы моих друзей

КрР2  
М-919

...И когда вам покажется, что наконец-то вы о Чукотке знаете все, помните, что именно сейчас вы, как никогда, далеки от истины.

Тема Чукотки неисчерпаема. Она бесконечна, как и ее снега. И проживи вы здесь хоть девяносто девять лет, вы постоянно будете открывать для себя солнце Чукотки, ее людей, ее небо, ее зверей и собак, ночи ее, снега ее.

Десятки книг написаны о непонятном колдовстве Севера. У меня — это вторая книга. Но она о том же.

Автор.



# ГОЛОВЫ МОИХ ДРУЗЕЙ

\*

Рассказ

Ксене Ивановской

М. не любил свое лицо. Он считал, что его глаза скорее подходили бы женщине.

Когда он улыбался, он знал, что на щеках появляются молодящие его ямочки, а ему ведь было тридцать,

Прически у него не было никакой, и с этим М. давно смирился.

Подбородок очерчен резковато, но, правда, не настолько, чтобы угадывался волевой характер.

М. не любил свое лицо, и только к носу относился как к товарищу. М. уважал его.

М. надавливал большим пальцем на нос, крутил его, и нос мягко поддавался, как глина, и М. убеждался в который раз, что его раздробленные хрящики не срастутся. Может быть, раньше эта часть его лица и имела правильные

формы, но М. не помнит того времени, а многолетнее увлечение боксом внесло в его физиономию такие существенные коррективы, что не считаться с ними было бы просто бессмысленно. На ринге носу доставалось больше всего, и после каждого удара М. растирал его перчаткой, крутил перчатку, кожа ее пахла потом, кровью и была солена на вкус. Все боксеры хорошо знают вкус и запах кожаной перчатки. Когда после долгих перерывов М. возвращался в спортивный зал, ноздри его дрожали, он чувствовал запах ринга (он без того тонко чувствовал все запахи, это еще передалось, наверное, от отца-таежника), но когда он надевал перчатки, он подносил их к лицу, нервно нюхал и волновался, и долго возился с грушей или мешком, и только в белом квадрате ринга успокаивался, даже если партнер по спаррингу оказывался сильнее.

И еще он волновался, когда каждый раз приезжал в город, в котором находился сейчас. Он не знал этого города, но он любил его, потому что все его пути, куда бы М. ни ездил в течение всей скитальческой жизни, лежали через этот город. И в этом городе, в Москве, у него были друзья. Последние годы он редко приезжал сюда, потому что последние годы М. работал на Чукотке, а с Чукотки на «материк» приезжают не так уж часто. У М. появились другие пути, другие дороги и другой транспорт. И как бы далеко в тунд-

ру или на побережье Ледовитого ни кидала его судьба, он знал, что выберется всегда, когда захочет, потому что одинаково хорошо водил собачью упряжку, понимал толк в оленях и умел ходить пешком.

В этот московский дом он приходил всегда, потому что здесь жили такие же, как он, бродяги, только старше его, и их привязывало к городу только то, что они в нем родились, стали мужем и женой, имели одну комнату, почитали город этот за единственное место, куда всегда стоило возвращаться. А М. возвращаться было некуда, хотя он все время ездил. И все время верил, что наконец начнет скучать по какому-нибудь одному месту, где его ждут, и он знал, кто должен его ждать, но она ждала слишком долго раньше, а когда он вернулся, то праздника не получилось, и он уехал. И его ждали, случилось, другие женщины, и всегда ждали друзья, но никого из женщин, кроме той, которая ждала дольше всех, он бы не взял с собой. И от этого М. было спокойно, и он не любил это свое спокойствие.

Виктор и Ольга всегда были рады М. Места, где бродил М., были и их местами, и все знакомые и друзья М. в разное время были друзьями и знакомыми Виктора и Ольги. Их троих связывала одинаковая тоска в глазах, когда они смотрели на географические карты и намечали

точку встречи на очередное лето или зиму, и вспоминали места, где оставлено многое.

...Мастерская Ольги была в этом же доме, только в подвале. Она усадила М. на вертящийся станок и попросила не вертеться и посидеть часа два спокойно. Перед ней на высокой подставке — большой зеленый ком глины. И ему суждено было со временем превратиться в голову М.

Как все впечатлительные люди, М. был рассеян, все видел и воспринимал в целом, в толпе не замечал лиц, в пейзаже — отдельной сопки, в человеке — детали одежды. Частности для него проявлялись потом, спустя некоторое время, когда он привыкал и осматривался. Тогда в толпе замечал грустное лицо, в пейзаже — сопку, которая оказывалась похожей на собаку, в человеке — грустный значок на лацкане полосатого пиджака. И здесь в мастерской он среди множества гипсовых и каменных бюстов, расставленных всюду — на подоконниках, стеллажах, просто на полу, — из большой кучи слепков с человеческих лиц и характеров стал выделять наиболее яркие, те, которые ему понравились или не понравились вовсе.

И вдруг М. оторопел. Из дальнего угла на него смотрели хитрые раскосые глаза, а губы вот-вот должны были расплзтись в широкой улыбке.

— Ба! Да это же Келевье!

— Он самый... — улыбнулась Ольга. — Ну

как? — Она прекратила работу, ожидая, что М. скажет.

— Хорош! Ах ты черт, Келевье! Ну, здравствуй, Келевье! Здравствуй!

М. ерзал на своем станке, ему хотелось сойти и погладить Келевье, потрогать руками его лицо, поздороваться. Очень уж хорош был Келевье, совсем как живой, и лицо такое же веселое, как тогда, зимой, два года назад.

Ольга была рада, что портрет понравился М., и приказала ему сидеть тихо и не вертеться. А М. вспоминал ту зиму, снежную, с последними морозами, накануне весны. Наст был крепкий, снег днем подтаивал и схватывался ледяной коркой. Очень щедрое солнце в последние дни зимы, и с Келевье у них длинный путь. Всегда ждешь от Келевье улыбки, такое уж у него лицо. И не поймешь — хитрец ли он, ехидничает, держит ли что на уме или просто радуется от избытка здоровья и добродушия.

В дороге Келевье выпыгивал у М. потихоньку весь спирт. То уверял, что чарка перед сном не вредит; то с таким мясом, которое он готовит, она просто необходима; то вдруг он начинал подозрительно часто мерзнуть или вдруг неизвестно от чего у него разбалчивалась голова и боль проходила сразу же, после первого глотка. А за день до приезда в стойбище он вспомнил, что еще вчера у его брата был день рождения, и не

отметить его сейчас ну никак нельзя. Из трех флагов, которые взял с собой М., осталось только в одной, да и то на доньшке.

В стойбище приехали Первого мая. Из яранги высыпали родственники Келевье, и из оживленного разговора, где часто повторялось «акке мымыль» (огненная вода), М. понял, что Келевье рассказывает о его спирте, и страшно рассердился. Но Келевье смеялся, и смеялись обитатели яранги. Потом Келевье спросил у М., хорошо ли ему ехалось?

— Хорошо, — ответил М.

— Мягко?

— Нормально, — сказал М.

Тогда Келевье снял оленью шкуру, на которой сидел М., вытащил из-под нее мешок из нерпичьей шкуры, развязал его, и М. увидел, на чем он сидел всю дорогу. Хозяева стойбища хохотали. В мешке было семь бутылок портвейна.

— Ну, подожди, Келевье!

М. устроил шутливую истасовку и под одобрительные возгласы стойбища повалил Келевье на снег, чем и заслужил право быть тамадой. Потом отнес бутылки старику, хозяину яранги, где они с Келевье остановились. Праздник был отмечен хорошо.

— Перекур! — скомандовала Ольга.

М. слез со станка, сделал несколько упражнений, разминая спину.

— Черт возьми, я не знал, что это так трудно — позировать!

— Гм, а ты думал! Идем, я тебе что-то покажу...

Она сняла покрывало с одной из подставок, и М. увидел человека, которого на Чукотке должны знать все. М. посмотрел в глаза Теину. Теин, добрый и мудрый старик, смотрел на него устало и спокойно.

— Он сейчас танцует? — спросила Ольга.

— Да. Но не на всех празднествах. А молодежь из эскимосского ансамбля он научил всему, что мог сам. Но все равно лучше него не танцует никто. А помнишь ту фельдшерицу, что вслух восторгалась его красивой белой одеждой?

— Вот дура!

— Не вини ее, Оля...

— Я не виню ее... просто тогда неловко было...

Тогда вечером М. выговаривал той фельдшерице. Она не знала, что существует обычай: если старик для повседневной одежды выбирает белые шкуры, значит он готовится к переходу в иной мир. Значит, он здесь, на земле, сделал все и неотвратимое встретит достойно.

М. вернулся на свое место, Ольга продолжала работать. Он вспомнил, что до сих пор не выслал Теину фотоснимков. Он снимал старика год назад, когда знакомил своего шестилетнего сына с дедушкой Теиным, как называл его М. «Де-

душка Теин, наверное, давно забыл об этом. Разве мало его фотографировали? — думал М. — Надо бы сдать пленку обработать тут, пока еще не уехал с «материка». Надо бы не забыть...».

Щепкой из твердого дерева — стекой резкими движениями Ольга снимала с глины лишнее, и эти кусочки левой рукой разминала. Сходства с собой пока еще он в этой глине не замечал.

— Рано еще, ты не рассматривай так, — сказала Ольга.

Наверное, все, кто позировал раньше, так же ревниво и тревожно смотрели, как из ничего что-то получалось, и каждому хотелось, чтобы получилось, и Ольга знала наверняка, о чем они думают.

— У нас еще несколько дней впереди, придется тебе терпеть, раз попался, — смеялась она.

Пришел Виктор.

— Я так и знал, что искусство требует жертв.

— ...новых жертв, — сказал М.

— Послушай, почему она так относится к друзьям? За что она их так?

— Я вот тоже думаю, — рассмеялся М. — За всю свою жизнь я не помню, чтобы сидел вот так долго без движения. Это ужасно. Ни на одном собрании я не высиживал больше получаса.

— Здесь не собрание, мальчики, — сказала Ольга. — Кончайте дебаты, выжить еще успеете.

— Мы уже свое отпили, — похлопал Виктор по плечу массивный бюст из гипса, тонированный под гранит.

— С кем это ты так фамильярно? — спросил М.

— Ты не узнаешь?

— Нет.

— Ну смотри же!

— Нет.

— Да это же Виктор! — не вытерпела Ольга.

М. присвистнул. Он смотрел на Виктора, постаревшего, седого, крупного человека. Наверное, каждый маршрут по земле и по жизни лег морщинами на его красивое лицо, лег на спину тяжестью невидимого рюкзака, и М. сравнивал его с тем, молчаливым под камень Виктором (теперь он узнал его, это был действительно он, молодой), и понял, что так его извять могла только любящая женщина.

— Ты здесь похож на молодого Маяковского, — сказал М.

— Я похож на молодого себя, — сказал Виктор. — А это плохо. Теперь я знаю, что было и чего уже не будет.

— Он ничего не понимает, — сказала Ольга. — Он здесь такой, каким он будет всегда, какой он есть. Мужчины никогда не знают того, что знает о них женщина. Правда?

— Правда! — в один голос сказали они с М.



— А ну вас,— бросила Ольга работу.— Идемте ужинать.

...И еще три вечера позировал М.

В последний вечер пришел Виктор.

— Ну вот, будет у нас на полке еще одна голова.

— Оля, отольешь мне копию? — спросил М.

— Конечно. Только приезжай за ней сам. Отправлять не буду. А зачем тебе?

— Ну... — помялся М.— Одна голова — хорошо, две — лучше.

— Тогда отолью. Приезжай.

М. смотрел на себя, узнавал и не узнавал.

— Знаешь что,— сказал он Ольге,— надо, чтобы свитер получился. Чтобы свитер был лучше. Подтяни его под самый подбородок. Этот мой уже сел.

— Да-да, Ольга,— сказал Виктор,— вот в чем дело.

Виктор знал, что М. не носил пиджаков. Они не шли к его небольшой коренастой фигуре. Он не знал, что делать с карманами и пуговицами. Однажды его бывшая жена все-таки купила ему костюм, и он мучился, и все свое носил с собой, извлекал из карманов костяные амулеты из моржового клыка, камни со дна реки Амгуэмы, зубы лоса на связке, и нож с ложкой и вилкой, и кусок коры, похожий на лицо усталого пьяницы, и бусы из шишек стланика, и черт знает что

еще — бросил он носить пиджаки. А за отворотами свитера все время носит спички и сигареты и никогда не теряет.

Ольга несколько раз ударила по глиняной голове, мастера прическу, и М. инстинктивно втянул голову в плечи. Виктор заметил его реакцию. Значит, портрет получился. Он ревниво следил за работой Ольги, хотел, чтобы она удалась, чтобы понравилась М.

М. удивлялся, когда ловил взгляд Ольги. Она смотрела на М., на его лицо, но в лице видела только нос или глаза, или подбородок, смотрела на часть лица, ту, которая нужна была тому, глиняному, и М. пытался так же посмотреть на Ольгу, потом на Виктора, но ничего не получалось, он видел их целиком, со всем, что знал за долгие годы дружбы, и он улыбался.

— Ты можешь не улыбаться? — спросила Ольга.

— Не могу,— сказал М.

М. слез со стула, остановил вертящийся станок, и они стали секретничать с Виктором на темы, о которых всегда догадывалась Ольга. Она засмеялась, сказала, что пошла готовить омлет, без которого М. жить не мог, как он уверял, но врал, просто на Чукотке не из чего его готовить. Однажды они с Виктором приготовили Ольге сюрприз. Виктор хорошо связал порванную веревочную лестницу, долго проверял кара-

бины, и они вдвоем полдня провели на мысе Эрри, на птичьем базаре. И был потом такой омлет — Ольга его не забудет. Здесь в Москве Ольга напоминает ему об этом, готовя другие, цивилизованные омлеты, из магазинных продуктов и на газовом огне.

— Тут есть ещё два твоих друга. Ольга готовит свою выставку: «Чукотка, как я ее вижу», это ее лучшие работы. — Виктор развязал шнурок, снял материю, потом полиэтиленовую пленку, и М. радостно рассмеялся.

Голова тоже улыбалась, и блики яркого света играли на ее лысине.

— Папа Вольф... — нежно сказал Виктор.

— Папа Вольф... — повторил М.

С Вольфом М. на Чукотке соседи, дома их стоят вплотную на отшибе поселка, у самого моря. Знакомство М. с Чукоткой началось со знакомства с Вольфом, начальником передвижного медицинского отряда. В тундре его знали так же хорошо, как дедушку Теина, как М. В места, куда М. добирался на собаках или пешком, или на вельботе, Вольф прилетал на своей лаборатории — оборудованном под медпункт вертолете или «Аннушке». Но летающая лаборатория у него недавно, всего пять лет, а до этого все годы по самым разным маршрутам доктор Вольф разъезжал на собаках или оленях или бродил пешком с неизменным ящиком, на котором крас-

ный крест был уже вытерт. И первые годы, когда приехал М., Вольф на правах старшего товарища помогал ему постигать суть тундровых вещей.

— Ты знаешь, Виктор, он уже защитил кандидатскую.

— Годы нас всех крутят, — о чем-то своем вслух подумал Виктор, — но в основном мы остаемся прежними.

— Основного у нас не отберешь...

Они засмеялись.

— А здесь Вольф чуть-чуть моложе, чем есть. Я ведь с ним виделся месяц назад. Он улетал в Пильхинскую тундру, а я сюда. Глаза получились и улыбка... Вот только молод больно... Знаешь, он таким был лет пять назад. А может, в этом все и дело, что и через пять лет он будет таким же, а?

Виктор согласно кивнул.

А М. вспоминал, что же было тогда, пять лет назад. Кажется, день рождения Вольфа. А потом была ночь, и М. провожал Дину. Мела поземка, и на улице было темно. И тогда, наверное, она решила, что любит его и вообще не представляет, что дальше будет делать без М.

Но он-то знал, что приехала она не к нему, что ее вызвал на преддипломную практику ее старший друг, хороший парень — геолог, и он не хотел ему зла, но ему нужна была Дина, и М. не знал, что же теперь делать.

А через месяц наступила весна, геологов забросили в поле, Дина улетела к отрогам Южного хребта; там была ее партия, парень, который ее вызвал, остался на буровой, в Анадырской тундре, а М. перевелся к геологам и последним вертолетом добрался до Ламутской партии, двухсотки, где проработал сезон младшим техником. Его партия оказалась самой западной, самой отдаленной, М. несколько раз за сезон вызывал порации Дину, но ничего не получалось, а парень с буровой говорил с ней два раза. Во всяком случае, оба раза М. слушал в эфире их разговор, потому что когда переговариваются геологические партии, их слушают все соседи. М. решил увидеть ее в поле, потому что все эти сто дней он думал о ней, думал каждый день и тосковал. И когда в конце сезона начальник Ламутской партии вызывал добровольцев на перегон лошадей, М. согласился и согласились еще ребята, но М. упросил начальника, и тот отправил его, какюра Хечикьява и старшего техника.

Со всех партий полевые лошади перегонялись к устью Черной реки, где их ждали баржи. Из партии М. туда было два пути — один через болота реки Убиенки, тогда на дорогу уйдет одиннадцать дней, второй через Южные горы, тогда на дорогу уйдет четырнадцать дней. И начальник предложил самый короткий путь, и все согласились. Но через три дня пути, когда нуж-

но было сворачивать или на юг или на восток, М. предложил изменить маршрут.

Старший техник-геолог не понимал, зачем надо тащиться через Южный хребет. Все доводы М. не стоили ничего. Он волновался и никак не мог убедить старшего техника. И тогда он сказал правду:

— Я за весь сезон ни разу не поговорил с Диной. Ты же сам однажды чуть не охрип на рации, вызывая Южную...

Хечикьяв слушал их разговор.

Старший техник расстелил карту, долго курил и высчитывал, потом молча выпил литр чаю и сказал Хечикьяву:

— Идем на юг.

Лицо Хечикьява было непроницаемым.

...В партии у Дины отдыхали один день, и М. был счастлив, а Дина долго ничего не могла сказать от удивления, и она решила, как тогда, что любит М. и вообще не представляет, что дальше будет делать без него.

А Хечикьяв молчал, а потом, уже в поселке, рассказал тому хорошему парню с буровой, что М. к Дине заходил на Южную, что маршрут был другим, а они заходили на Южную, и пришли к последним баржам в последний день, когда их почти перестали ждать.

— Зачем ты это сделал, Хечикьяв?

Бюст Хечикьява стоял рядом с Вольфом. У него было красивое узкое горбоносое лицо. Высокий малахай, и нос, и узкие стиснутые губы придавали ему сходство с индейцем. Такие лица можно встретить только в Беринговской тундре на границе с Корякией, а Хечикьяв был родом оттуда. М. сразу узнал его.

Виктор заворачивал голову Вольфа, а М. смотрел в прищуренные зоркие глаза Хечикьява.

— Зачем ты это сделал, Хечикьяв? — спросил его М.

Хечикьяв молчал.

— Ты о Дине? — спросил Виктор.

М. кивнул.

— Действительно, зачем ему это надо было?

— Просто они с тем парнем были старые друзья. До буровой тот парень несколько сезонов работал с Хечикьявом...

— А теперь?

— Теперь... — М. вздохнул. — Что теперь? Парень на Чукотке, я здесь, а Дина замужем за другим, он работал у них в Южной...

Виктор покраснел.

— Понимаешь, — сказал он, — я знал, что Дина вышла замуж, только не говорил тебе об этом. Ведь она сейчас в Москве.

— Здесь? В Москве?

— Да... Я видел ее на прошлой неделе.

Защитила диплом и собирается на Чукотку, к мужу.

У М. наверное изменилось лицо.

— Уж не собираешься ли ты сейчас идти к ней? — забеспокоился Виктор.

— Нет... Да... конечно...

— Нет, нет, нет... Идем домой. Нас ждет Ольга. Как же, она омлет приготовила!

— Да, — сказал М., — да. Омлет — это правильно...

М. не хотел вызывать лифт и поднимался до пятого этажа по ступеням.

Было поздно.

Он никогда не думал, что это так трудно — позвонить и дожждаться, когда тебе откроют дверь. И прежде, чем позвонить, он выкурил сигарету.

За эти минуты, за время, отпущенное на одну сигарету, он о многом передумал и заготавливал какие-то слова, но они тут же вылетали из памяти.

В ту весну, когда он встретился с Диной, он уже разошелся с женой и считал, что свое отлюбил. А если человек уже отлюбил, вторая любовь — или большое горе или такое счастье, после которого рано или поздно приходит беда.

Они были счастливы с Диной. Ради нее он со-

вершал много невозможного, он каждый день удивлял и восхищал ее. Она знала, что все это ради нее, и гордилась им.

Но когда он уехал в Магадан и от него потребовалось самое простое — вызвать ее с Чукотки, он испугался. Он сам не мог себе объяснить, но в душе предательски щелкнул рычажок благоразумия. Возможно, он боялся, что с этим кончится сказка, в которую они вместе верили. В последний разговор по телефону Дина ни о чем не спрашивала, она ждала, когда он скажет просто и весело: «Собирай рюкзак и мотай ко мне, я же без тебя не могу», — но он говорил совсем не то, потому что знал, что она ждет от него. Когда Дина плакала по телефону, М. был несчастлив вдвойне.

И теперь жизнь мстила ему одиночеством...

М. позвонил.

...Потом они долго сидели с ее отцом на кухне, пили хорошее вино, говорили о геологии, о Чукотке, о Дине, которая уехала туда вчера. Отец знал все. И М. понял, что мужчина не волен совершать поступки, которые несут страдания женщине.

Отец предложил заночевать у них и постелил ему в ее комнате.

Здесь было много ее вещей. И его вещей тоже — в основном игрушек. М. любил дарить ей игрушки. И по тому, как были они расставлены,

он чувствовал, что она дорожит ими. И ему было радостно и горько.

М. ходил по комнате, тихо, осторожно, боясь задеть что-нибудь, боясь спугнуть что-то, чему он еще не знал названия.

Потом М. трогал ее вещи, листал ее книги, пил из ее полевой кружки, нашел полпачки ее сигарет и закурил, хотя не любил без фильтра: все хотел оживить в памяти ее запах, но вещи были холодными.

И почему-то вспомнил, что давно не был на ринге, и представил его белый квадрат и сразу же почувствовал запах спортивного зала, соленый вкус перчатки.

Постель была холодной, и того запаха, который он оживлял в памяти, запаха ее волос, темных чукотских ночей, запаха тишины, настоечного на нежности, он не мог вспомнить.

И вдруг он физически ощутил, что так хорошо, как хорошо было ему с ней, ему уже не будет ни с кем.

Он всю ночь курил и ушел рано, никого не разбудив, не позавтракав, только оставил на столе записку с номером своего гостиничного телефона.

Он ушел по пустынной утренней Москве. Ему хотелось участия, думал зайти к Виктору и Ольге, но было еще рано, и когда он пришел в гостиницу, то сразу же заказал далекий южный

город, где был единственно родной человек — его маленький сын.

Жена не удивилась звонку. За долгую совместную жизнь она привыкла не удивляться ничему, связанному с М.

— Разбуди сына, — сказал он.

М. представил ее послушную фигуру, ее пахучее теплое тело, представил, как она идет к постели и поднимает малыша, и ему было до боли жаль ее, как было жаль Дину, как было жаль себя.

— Ну что же ты, папочка, все пишешь, что приедешь, а сам все не едешь и не едешь?

— Работа у меня такая, сын...

— Мама говорит: ты путешественник. Геолог, значит, да? Полярник, значит, да?

— Да, сын, геолог. Работа у меня такая...

— А я хочу с тобой ездить! А то мама никуда не ездит.

— Хорошо, сын, будем вместе ездить... ладно?

— Ладно! Ну, ты приезжай, папочка, ладно? Я еще подожду. Я еще не пойду в школу, ты приезжай, ладно?

— Хорошо, сын... конечно, приеду. Поцелуй маму, она у нас хорошая... слушайся ее...

— Да я и так слушаюсь, а ты все не едешь... А мама плачет. Ты не плачь, мам, ведь он приедет. Пап!! Пап! А дедушка Теин не приедет?

— Нет, не приедет...

— А почему он не приедет? Мы с ним так хорошо тогда танцевали, а ты нас фотографировал. Я хочу к дедушке Теину!

— Вот поедем на Чукотку, тогда увидишь дедушку Теина. А фотографии я тебе обязательно пришлю.

— Присылай фотографии! Только скорей! Приезжай, а потом присылай фотографии...

На другом конце провода в далеком южном городе положили трубку.

М. чувствовал опустошенность и усталость.

— Надо спать, — сказал он себе.

Проснулся он вечером и пошел к Виктору. Но соседка сказала, что Ольга и Виктор выехали за город, им кто-то срочно звонил, и вернуться они обещали завтра.

«Сейчас она чего-нибудь попросит», — подумал он о соседке и торопливо распрощался. Почему-то все всегда чего-нибудь у М. просили, и всегда это были незнакомые люди. В Магадане на почте «бичи» просили мелочь на телеграммы. М. давал, а они уходили пить. У газетного киоска у него просили мелочь такие же потрепанные лица, и М. не давал, а просто вел их к ларьку и всем покупал вино. И совсем уж свирепел, когда вспоминал, сколько раз к нему за день обращались с вопросом: **какой час и как пройти на**

незнакомую улицу, обращались именно к нему, хотя вокруг были сотни москвичей, которые знали, который час, и знали, как пройти на эту самую улицу. «Черт возьми, — думал М., — наверное, у меня лицо такое».

На углу М. купил сетку, сунул ее в карман («надо бы вина сухого купить, ребята просили»), но тут зажглись вечерние огни.

Огни «Праги» позвали его, он вспомнил, что голоден, и решил вино купить потом, после ужина.

Ужинал плохо, больше смотрел на танцующих людей, и было ему грустно. Он уже был там, на Чукотке, он вспоминал, как выглядит сейчас снег, он видел, как выходит из дому старик Теин, смотрит на солнце, вздыхает и щурится, и радуется солнцу; он видел Дину в аэропорту Магадана, видел, как она ждет самолет на Анадырь, но рейс отложили, погоды нет, и она сидит в кресле, дремлет, дыхание ее ровное и теплое. Вот М. подходит к ней и целует ее губы, тихо, она не открывает глаз, а только улыбается, она знает — это М. Все рады, что М. прилетел, и конечно же, у М. есть что-то в запасе, вон какой громадный рюкзак; а смешной Келевье зовет М. в ярангу, там давно кипит мясо, много мяса: для М. убили молодую важенку, а детишки стойбища носятся с невиданными игрушками, и взрослые тоже радуются, как дети, М. всегда

приезжал с игрушками в стойбище, где есть дети; и М. на забое, олени мечутся в корале, Хечикьяв резко швыряет чаат, петля захватывает рога оленя, стягивает, ремень вот-вот порвется от натяжения, но у Хечикьява не бывает плохих ремней, он потихоньку, не спеша подтягивает оленя, валит его на землю и незаметным молниеносным движением всаживает нож в сердце по самую рукоять.

— Зачем ты это сделал, Хечикьяв?

— Вы что-то сказали?

М. провел рукой по лицу:

— Нет... Да... Будьте добры, вот мой номерок, в кармане куртки сетка, мне нужно вино с собой, сухое вино, две бутылки бренди, а остальное, сколько войдет, вино. Бутылки заверните, пожалуйста.

М. допил кофе, ему принесли тяжелую сетку, он посмотрел на часы: уже была полночь.

Свет в окнах Виктора и Ольги был потушен. «Их все равно нет дома», — подумал М., идти в гостиницу ему не хотелось, а больше идти было некуда.

И тут М. понял, как можно быть одиноким, даже если вокруг много людей, и почему-то вдруг подумалось, что в тундре, в снегах, в многодневных нартовых переходах, когда он был

совсем один, он и собаки, и только, — он не чувствовал одиночества. Просто он всегда был занят делом, и его всегда ждали друзья.

М. засмеялся. Он знал, что делать.

Он быстро спустился в подвал дома, толкнул дверь мастерской Ольги, мастерская, конечно же, была заперта. Он изучил замок, достал нож, надавил тонким лезвием на защелку, приподнял дверь вверх, и она тихо отворилась.

— Ребята, есть дело, — громко сказал М.

— ...есть... дело... — глухо отозвалось в огромной комнате.

М. поставил бутылку в центр вертящегося станка. Снял с подставки голову Келевье и поставил на станок. Потом принес голову Теина, потом папы Вольфа. Потом подумал и поставил рядом свою.

— Ребята, есть дело, — тихо сказал М. — Мы никогда не собирались все вместе. Давайте вместе выпьем за нас. — И ты иди, — сказал он Хечикьяву.

Лицо Хечикьява было непроницаемо. М. осторожно поставил бюст рядом с Теином, Келевье, папой Вольфом, рядом с собой, рядом с молодым Виктором.

— Давай с нами, Хечикьяв, сегодня я все прощаю.

М. медленно крутанул станок и по очереди чокнулся с каждым.

— Пусть нам всем повезет, ребята... За Чукотку!

...В аэропорту к М. подошел парень и протянул рубль: не хватало оплатить багаж. М. протянул металлический рубль, парень взял, и М. долго провожал его спину взглядом. Парень подошел к буфетной стойке, бросил рубль, выпил вино и направился к выходу.



## ОЧЕНЬ ЖАРКО

\*

Рассказ

— Сеид, покажи пустыню, — канючу я. —  
Сеид, покажи пустыню...

Сеид молчит. Сеид задумчиво чешет волосатую грудь. Глаза у него голубые, как озеро Балхаш. Как озеро Балхаш, если лететь над ним на высоте шесть тысяч метров. Наверное, в него влюблены все окрестные девушки. В Сеида, конечно, а не в озеро. Но девушки тут гордые. Они делают вид, что не смотрят на него, загорелого черного красавца с азиатской меланхолией в голубых нездешних глазах. И черный красавец задумчиво чешет волосатую грудь.

— Сеид, покажи пустыню...

Девушки проходят под тень чинары. А может, и не чинары, я не знаю, как тут называются деревья. Потом спрошу, когда будет пустыня, аулы и саксаулы, и верблюжья колючка; колючку я

знаю, хотя она у нас на Чукотке и не растет. Колючкой я буду кормить верблюдов.

Двадцать косичек у девушки Замиры. А может быть, тридцать. Наверное, она заплетает их на работе. Потому что немисливо представить, как можно отдавать заплетению косичек свободное время. Когда же тогда ходить на свидания?

Она тоже идет туда, к деревьям. Там скоро сядет маленький самолет. Он редко садится там: ведь отсюда куда угодно можно доехать на машине или на поезде, да и к большому аэродрому можно добраться за час. А самолетик садится тут не часто.

Замира идет, и кажется, что ее косички, как сосульки на новогодней елке, звенят в желтой тишине. Черные стеклянные сосульки. Замира никогда в своей жизни не видела новогодней елки, как я не видел ни чинары, ни песков пустыни.

— Сеид, покажи пустыню...

Брови у Замиры на переносице искусственно сведены тушью в одну. Одна бровь на оба глаза. Полумесяцем бровь.

Замира ведет за руку малыша — молчаливого надушенного чертенка. Пятилетний Бахадур зол. Несколько минут назад мать отчитала его за проказы. А может, и дала пару шлепков. Бахадур — ее радость и горе. Он лезет на дорогу,

и все колхозные шоферы его друзья. Бахадур ломает все, и если его оставить без присмотра, сможет, наверное, отвинтить на досуге колесо у грузовика.

Отца у него нет. Он на Севере. Все знают, когда он приедет. И даже я. Только я это знаю лучше. Вот сейчас. Минут через сорок. Он остался в центре на один день. А до центра мы летели вместе. Забрали мы его в свой грузовой АН-12 в Новосибирске. Он отстал от пассажирского рейса и попросился к нам. («Новосибир! Город! Абрикосы! Наши абрикосы! Я сразу узнал! Смотрел город — отстал! Любопытный я! Зачем Хамид любопытный? Не знаю! Зачем Хамиду, южному человеку, Север? Домой еду! Пять лет не видел Замиры. Зачем?»).

Все это я пишу после встречи Замиры и любопытного Хамида. Он стоял у самолета бледный и не улыбался. Замира подошла медленно. Сеид вытер пот со лба.

Хамид и Замира долго смотрели друг другу в глаза. Разлука не проходит бесследно, это знают все, кто был в разлуке. И Хамид мысленно каялся и сокрушался, как тогда в самолете: зачем южному человеку Север.

Хамид и Замира стояли молча. Они смотрели друг другу в глаза. Бахадур стоял у нашей машины, и Сеид гладил его по голове.

Больше Хамид не будет уезжать на Север.

Сеид вздохнул, включил мотор и повез меня показывать пустыню.

У него старый «виллис», старай-старый, наверное, со времен англо-бурской войны. Такие «виллисы» я видел в хронике, показывали африканскую пустыню. И вот опять пустыня, но нет прохлады темного кинозала, и старый «виллис», но нет выстрелов.

— Сегодня не повезло, сегодня нет каравана, — вздохнул через час Сеид.

Я его понял.

— И не надо. Подумаешь, верблюды! Я и в зоопарке их увижу. Давай домой, — малодушно капитулировал я перед песком и зноем.

Вот она, пустыня. И если сейчас меня спросит Сеид, какая она, я ничего не отвечу. Я вытащу из ящика последнюю бутылку минеральной, половину выпью, а остальное вылью на голову и выброшу ее в пески, где валяются остальные девятнадцать, потом выброшу пустой ящик и спрошу у Сеида:

— Как вы живете в такой жаре? Разве можно жить в такой жаре?!

Ничего не скажет Сеид. Он привык к глупым вопросам.

Мы едем к Хамиду. Хамид ждет меня, я обещал еще в самолете. Сеид едет со мной. Он спокойно едет со мной, потому что никогда Хамид не узнает, что Сеид и Замира большие друзья.

А если Хамид узнает, убьет Замиру. Зря, конечно. Нельзя же пять лет ждать и бояться, что эти пять могут растянуться на десять. Хамид забыл, что век восточной женской красоты очень короток. Это знают все женщины, и Замира тоже. Плати теперь, Хамид. Плати ночной бессонницей, глухотой, когда вокруг шепчутся, дикой ревностью неизвестно к кому и не забывай носить лицо достойно.

— Ассалом алейкум! — вошли мы во двор.

— Во алейкум ассалом! — ответил белый старик.

В саду на возвышении — небольшая деревянная площадка. Это чайхана. К ней ведут три ступени. Посреди чайханы столик на маленьких ножках. Вокруг столика с трех сторон — матрасы, покрытые пестрыми коврами. На коврах подушки для сидения, их лучше всего подкладывать за спину. Стол уже накрыт. Нас приглашают к трапезе.

Мы моем руки под краном, каждому дают отдельное полотенце.

У ступеней чайханы я сбрасываю сандалии, вытирая ноги о коврик, это скорее жест символический. Неглубоко кланяюсь, не спеша прохожу к столику, сажусь по-восточному и устраиваю подушку за спину.

Чайхана в тени. С дерева на дерево перекинута проволока, виноград обвил проволоку, сте-

ны из винограда, потолок из винограда, хорошо в тени. Интересно, сколько в мире сортов винограда?

— Примерно две тысячи четыреста восемьдесят пять, — отвечает Хамид.

Он уже полностью здесь, в Азии. Он все вспомнил. За пять лет жизни в Якутии он ничего не узнал про Север. А здесь он полностью. И завтра уже снова будет агрономом. И ему приятно оттого, что здесь он свой и все обо всем знает. И он спешит поделиться своей радостью:

— Вот это каберне. А там ркацители. В конце сада изабелла и алентика. У соседей кишмиш розовый и белый. А без косточек — это тырново. Есть в совхозе еще эчкиумар, юмалак, дамские пальчики, таквери, чиллаки, нимранг, пино, катте-курбан...

— ...ранний вир, — подсказывает старик, — прима, родина, буваки, матраса...

Мы смеемся.

— Семьдесят два сорта в совхозе, — говорит Абдурахим-агы, так зовут старика. — Семьдесят два, слава аллаху!

— В основном я их знаю по этикеткам на стеклянной таре, — говорю я старику.

Засмущался Абдурахим-агы, ведь на столе только ряд маленьких бутылочек «столичной». Бросил негромко узбекское слово. И Замира исчезает. И через минуту ставит на стол графин

с вином. А рядом у столика чайник. Тоже с виноградным вином.

— Хороший сад, — говорю я приятное хозяевам. — Хорошие деревья. Тени много, легко.

— Платанус ориенталис, — цветет Хамид, — чинар восточный. В Крыму разводится, у нас и в Средиземноморье. И еще у Гималаев.

Ах, Хамид, молодец, Хамид! Дома ты, хорошо тебе. Не найдут тут лучшего агронома. Знают хитрые азиаты: зол ты теперь до настоящей работы. Зачем южному человеку Север?

К дальнему дереву сада привязана овца. У нее большой курдюк. Она стоит, опустив голову, не шевелится, смотрит в одну точку или закрыла глаза. И не часы, а уже минуты ее сочтены. Она предназначена для плова. Она будто чувствует это. От ее обреченной позы мне как-то не по себе, я еще ко многому тут не могу привыкнуть. Но вот незнакомый парень уводит ее. И в маленькой летней кухне под большим котлом Замира сильнее раздувает огонь. А плов будет готовить парень, потому что в деревне он лучше всех готовит плов. На курдючном сале, с желтой морковью, с луком и неочищенным чесноком, и каждая рисинка будет отделена друг от друга, руками будем есть, но гостям дадут ложки на всякий случай, вдруг гости непривычные. А гость-то я один и, признаюсь, не умею есть плов руками, не умею делать пальцы щепочкой,

катать рисовый шар и кидать его в рот. Да и ложкойхватишь больше, честно говоря.

А пока не дошло до плова, едим атчик-чучук — нестерпимо острую закуску из тонко нарезанных помидоров со специями, жирный суп жарко, ломаем пресные лепешки, испеченные Замирой. На столе персики, пушистые и нежные, хочется смотреть на них, а не есть, они, как маленькие солнца, а еще виноград черный, виноград светлый, солнечные лучики играют под его кожей, а еще фиолетовые сливы и яблоки семи сортов, и инжир, плоский, как шайба, инжир, и много чего еще на столе. Чувствую, не осилю восточного гостеприимства.

Мы приступаем к зеленому чаю, делаем большую паузу перед пловом, потому что плов как ритуал, это священнодействие, и мы много пьем зеленого чая, и я не спрашиваю, почему всегда зеленый чай наливается только до середины пиалы. Сколько можно выпить зеленого чая? Я переворачиваю пиалу, и уже не помню — по русскому это обычаю или по чукотскому. Жарко.

Во время трапезы Бахадур ел немного, все время стоял за чайханой. Бахадур следил, чтобы тарантул не вполз случайно на чайхану и не потревожил гостя. Одного он убил.

Жарко. От солнца или от еды — не знаю. Сними рубашку, опусти в арык — нейлон высохнет быстрее, чем ты осушишь пиалу. А чаю нет кон-

ца и краю, и я опять пью, а на столе появляются конфеты из сельпо, непонятные югославские конфеты «гаучо». («Пижон, — клянц я себя, — разве можно в жару в нейлоновой рубашке?»).

Нас за столом четверо, одни мужчины. Женщина должна только подавать. И я нарушаю обычай, прошу старика Абдурахима, чтобы Замираджан откушала с нами чаю. Замира смущенно присаживается, наливает чаю, делает глоток, встает и уходит. Уходит как-то тихо, незаметно, и я догадываюсь, что мне бы следовало молчать. Нас опять четверо — Хамид, Абдурахим-агы, Сеид и я. Незнакомый парень колдует на кухне с пловом и есть будет после нас или с нами, если его пригласит старик.

Время за столом тянется медленно. А за неторопливой беседой еще медленней. Кажется, будто время расплавлено жарой, а до «хайрли кег!» (спокойной ночи) еще очень далеко.

Белый старик Абдурахим-агы без усов и без бороды, волосы подстрижены ежиком, коричневое лицо в морщинах, морщины, как у чукотских стариков, только среди чукотских никогда не встретишь таких седых.

На старике щегольская полотняная рубаха и светлые брюки, рукава рубахи молодцевато закатаны. Совсем современный старик. Когда молчит, ну прямо директор магазина или заместитель председателя. Но я знаю, что Абдурахим-

агы пенсионер, по-русски не читает, почитает коран и весь светится мудростью.

Вечером он поведаёт мне о том, что не возражает, чтобы другие летали в космос, но ему-то известно — никто не знает края земли, никто еще не был в горах Каф, окружавших землю, и никто не возвращался с Киёмата (Страшного Суда). И сам он старался жить по шариату... («Это такой реферат, — шепчет с улыбкой Сеид, — на темы корана»).

Большая жизнь у Абдурахима, но он ничего не знает о Якутии, откуда вернулся Хамид.

Мало прожил Хамид, быстрее жил, летал и ездил, но тоже ничего не знает о Севере. Потому что, если хочешь знать что-либо о другой земле, надо эту землю любить.

— А ты любишь свою землю? — переводит мне Сеид старика.

Я долго рассказываю о Чукотке, говорю, что это снег и прочее. Север, одним словом.

Качает старик головой. Он недоволен.

Тогда я прошу Сеида поточнее меня перевести и начинаю разговор на другую, но очень важную для меня тему.

Я вижу мудрость старика, и, может быть, он объяснит мне то, чего я никак не пойму. Почему, — спрашиваю я. — Почему мне так хорошо здесь, в незнакомом краю, и почему мне тревожно, особенно вечером, когда дышит теплая земля

и висят низкие звезды? Не могу я уснуть, слушаю что-то, прикасаюсь ладонями к потрескавшейся глине дувала, прислушиваюсь к себе и к ночи и к теплу заката, тянет меня земля, хочется ее послушать, и вот уже слышу какие-то голоса, смутные и непонятные ощущения бережат душу, как будто я вспоминаю что-то и не могу вспомнить, и не вспомню никогда, но мне от этой тревоги хорошо. Почему хорошо? Ведь я ничего не сделал на этой земле, ничем она меня не связывает, никого у меня здесь нет.

Молчит Абдурахим-агы.

Потом говорит:

— Ты мусульманин.

Говорит он это тихо.

— Почему?

— Ты вошел в чайхану, как мы. Сел, как мы. И виноград ел с лепешкой, как мы. Я смотрел, — признался он.

— Но я не знаю ваших обычаев.

— Кровь — она не обманет... Да коснутся ушей аллаха твои просьбы и будет он милостив... — тихо говорит старик.

Я никогда не задумывался о своей родословной. Но вспоминаю, что мой прадед был мусульманином, а дед его деда, наверное, ходил в Монголию и Китай по Великому Караванному пути. Как знать! И, может быть, тут его могила?

— Да, — соглашается старик.

Мне вдруг становится морозно. Я крепко кладу руки на стол и молчу. Молчу о своем. Думаю о том, что умру на Севере. А если это так, то сын моего сына тоже будет волноваться, когда придет на Север, даже если ничего не будет знать обо мне («кровь — она не обманет»)... Значит, на ледовитой земле, на том стылом берегу все должно быть мое, у меня должен быть свой Великий Караванный путь... Есть ли он у меня?

Вспоминаю всю свою жизнь на Севере, своих друзей и врагов, свои радости, опасности, свои прощания, встречи, свои слова, дело свое... Даже когда мне не везло, не обижался я на эту землю... Скучал без нее в краях, где теплое солнце и другие дожди...

И теперь я спокоен: знаю — непонятная тревога будет мучить сына моего сына, если ему вдруг вздумается приехать на Север. Будет он волноваться — да помогут ему потом мои боги! Конечно, он будет жить по-другому. Каждый живет по-своему. Но, наверное, жить надо так, чтобы и чужие люди говорили: вот ходил тут незнакомый парень в шапке, меховой. А теперь не ходит. Странно.

Я молчу, а Хамид рассказывает о Севере, как пил кумыс из якутского чорона — большой деревянной чаши и как ел строганину из чира, хорошая рыба, жирная.

— Что ты привез с Севера? — спрашивает Абдурахим-агы.

— Что привез? Деньги привез. Тоску привез. Тоски много, как денег, — вздыхает Хамид. — А счастья нет.

— Ну почему же теперь нет? Теперь ты дома... — говорю я и прячу глаза, и не смотрю на Сеида.

Сеид потягивает чай. Он может много выпить чаю, больше меня. Голубая бархатная меланхолия в красивых его глазах.

— Ты был далеко, — говорит старик, — у тебя будет чему учить детей...

Хамид пожимает плечами.

— Север учит людей доброте, — говорю я.

— Коран учит доброте, — спорит старик.

— В коране достаточно зла. Нетоварищеское отношение к женщине, — улыбается Сеид.

Старик смотрит на него сердито. Так сердито, будто выдал мне Сеид родовую тайну. Он ничего не говорит Сеиду, он понимает, что не та нынче молодежь пошла, никакого уважения к тому, что почиталось раньше. Успокаиваю Абдурахима:

— Все равно, — говорю. — Все равно не купаться нам в Кавсаре, райском пруду.

— Хэ, — вздыхает Хамид. — Хэ!

— Нет, — качает головой старик. — Вам не дано умыть лицо водой из Замзами. Не совершить вам главного пути — в Мекку. Никому из

вас не дано умыть лицо водой из Замзами, святого колодца Мекки.

А я вспоминаю свой путь сюда, свой длинный путь в Азию. Под нами все время плыли облака. Только над Сибирью облака под нами были похожи на снега, на торосы Ледовитого океана, а здесь облака как кучки хлопка, и тени от них на земле как озера с черной водой.

...На столе появляется плов.

Замира приносит полный чайник, наливает из него в графин.

— Пей вино и ходи не стигаясь, — непонятно кому говорит старик.

Утром Сеид отвозит меня на маленький аэродром. В машине Хамид и Замира.

Одинокий верблюд стоит в тени деревьев. У него высоко поднята голова, тяжелые налившиеся веки. От этого кажется, что смотрит он с прищуром.

Я беру на память веточку саксаула.

— Везти саксаул? — удивляется Сеид. — Разве это сувенир? Везти так уж везти, что-нибудь такое, — он развел руками, — по вашим северным масштабам.

— Да, конечно, — соглашаюсь я и прошу погрузить верблюда. Верблюд с насмешливыми глазами не хочет влезать в самолет, хотя в само-

лете пахнет яблоками, солнцем и пылью пустыни. Верблюд знает, что в тундре не растут саксаулы.

Сейчас я улечу. Сеид подбежал к самолету попрощаться еще раз.

Хамид и Замира стоят у машины и машут мне.

Зачем я прилетел в Азию?

Чтобы узнать, зачем приезжать, надо уезжать. Если хочешь узнать, нужен ли тебе саксаул и верблюды, пустыня и Замира, и платанус ориенталис — восточный чинар.

Вспоминаю, что не простился с Бахадуром, не хотел его так рано будить. Вот, наверное, так же рано уехал от него в свое время Хамид. Зачем? Ведь Бахадуру было всего несколько месяцев. Ничего, Замира родит Хамиду еще много сыновей, и от них уж Хамид никуда и никогда уезжать не станет. Она родит их столько, сколько надо Хамиду, — девять. Больше можно, а меньше Хамид не хочет.

Азия.

Нестерпимо палит солнце.

## СТРАННЫЕ ДНИ ХАН-ГИРЕЯ

\*

Рассказ

...в награду от Аллаха, а у Аллаха — хорошая награда. (К о р а н. Сура 3. Стих 195).

Молодой крымский татарин Ильдар Гиреев подался на Север на крупные заработки.

Его родители прожили в суровой любви и невысказанной нежности до самой старости.

К этому времени Ильдар на нелегко заработанные деньги построил им новый дом, и умерли его старики в новом доме, с именем Ильдара на устах. Умерли в один день, вернее, мать на день позже. Похоронил их Ильдар по русскому обычаю, продал дом и опять уехал на Чукотку, твердо решив жениться на русской женщине, красивой и молчаливой, которую он видел всего один раз.

Но русская женщина, красивая и молчаливая, которую он видел всего один раз, оказалась вот уже пять лет как замужем, и у нее двое детей, и это обилие невыясненных ранее фактов поглотило Ильдара в уныние...



Черная тоска на глазах у всех съедала Ильдара Гиреева.

— Чего ты темный такой сердцем, а, Хан-Гирей? — спрашивал его главный бухгалтер Козлов.

Молчит Хан-Гирей. Черная тоска, не приведи господи!

На второй день грусть с Хан-Гирея как рукой сняло. Потому что знал Козлов Ильдара и знал, что лучше всех валокардинов — хорошая работа.

— Поедешь на Мейнываам, — сказал Ильдару главный бухгалтер Козлов, оставшийся вместо председателя, — будешь бригадирить на рыбалке.

— Когда? — спросил Ильдар, кивнув на окно, за которым свистела снежная круговерть.

— Завтра. Завтра пурга кончится.

Козлов давно жил на Севере и знал, что южак в этих местах больше трех дней не дует.

— Первой нартой пришлешь мне мешочек чира или нельмы. Соскучился я по строганине.

— Ладно, — сказал Ильдар, — а к строганине?

— Выписал я в ТЭП на тебя и на ребят.

— Хватит?

— Нет, но на первый раз и пол-ящика достаточно будет, чтобы не замерзли.

Там, где пахло деньгами, был Ильдар трудолюбив до пота, знал это Козлов, потому и дове-

рял и не скупился на товары, особенно если они были позарез нужны тем, кто на подледном лове. А Ильдар в ответ никого не обидит — ни себя, ни ребят, ни главного бухгалтера. И за деньги, которые получали ребята, и за спирт, — за все будет заплачено — ломотой в суставах, кряхтением от застарелого радикулита, тоской в пурговые ночи, усталостью от ежедневного лицемерия одних и тех же лиц. Все это знал Козлов, потому и был щедр.

Было у Ильдара шесть своих собак. Походил он по селу, занял еще четырех. Посадил их на цепь, покормил всех и начал собираться: утром в путь.

Если на Чукотке говорят «завтра», значит все будет готово послезавтра. Чукотские каюры обычно на вопрос «когда?» отвечают без иносказаний: «рано-рано после обеда».

Ильдар тоже не очень спешил и уже к обеду очень пожалел об этом.

— Вот что, Хан-Гирей, — сказал ему Козлов, — подвезешь в бригаду Кунчи одного человека.

— Зачем?

— Не все ли тебе равно? Надо подвезти...

— Никого я не хочу везти!

— Это женщина...

— О аллах! Тем более женщину!.. Хорошая хоть?

- Кому как... посмотришь сам... новенькая.
- Кто?
- Учителка из красной яранги.
- А потом нельзя?

— Сам же знаешь, — вздохнул Козлов, — вездеход у нас разут, трактор мы утопили, вертолет вызывать — ждать погоду надо, да и влетит это удовольствие в копейчку, а остальные нарты все в тундре... Так что только на тебя и надежда. Тебе-то это по пути, ведь тут недалеко. Да ну тебя! Что я тебя уговариваю?!

Козлов повернулся и ушел медленным шагом человека, у которого забот полон рот.

Вскоре появилась и она, волоча за собой по снегу комплект меховой одежды.

— Здравствуйте! Мне сказали, что я поеду вместе с вами.

— Правильно сказали, — буркнул Ильдар.

Они помолчали.

Она вздохнула:

— А когда поедем?

— Я думаю, завтра... а?

— А мне сказали — сегодня...

Она сидела на крыльчке Ильдарова дома, постелив под себя кухлянку, смотрела, как Ильдар возится с нартой, и в глазах ее было столько любопытства, наивности и детской доверчивости, что Ильдар отложил дела, сел на нарту и закурил.

— Меня зовут Ильдар, можно и Хан-Гирей, это Козлов придумал. А вас?

— Света... Светлана я, Иванова...

— Ну вот, Света Иванова, один я бы завтра был там, куда тебе надо, у Кунчи... — Ильдар сразу перешел на ты. — А с тобой и за два дня, наверное, не дойти.

— А почему?

— Потому что снег тяжелый. А еще — впереди только одна избушка, и сегодня мы до нее не дойдем, поздно уже, а в палатке ты не ночевала, кажись, никогда.

— Никогда-а... — тихо, нараспев сказала Светлана.

— Первый раз в тундре?

— Впервые. Еще никогда не была. Все мечтала.

— Зачем?

— Что — зачем?

— Зачем мечтала? — тихо злился Ильдар.

— Не-е зна-аю... — опять тихо, нараспев сказала она.

Он вздохнул.

— Приходи завтра утром, пораньше. Пораньше и тронемся. А сегодня померь меховую одежду. Не надевала еще?.. Нет?.. Ну вот... а собралась в тундру! А вдруг что-нибудь пригнать надо! Давай, влезай в шкурью, привыкай... Привыкай... Эх.

Он вздохнул тяжело и пошел в дом, поставил чай. Закурил. «Вот зачем таких присылают в тундру? — думал Ильдар. — Только грусть навоят, несмышлениши».

Лег он спать вконец расстроенный и долго не мог заснуть, а к Светке не чувствовал ни радости, ни злости. Что тут поделать? Известное дело, надо везти, оставить у Кунчи — да и аллах с ней, и пусть его милости будут на ее обратной дороге.

Выехали утром, когда солнце было еще холодным. Ильдар уже не сердился на Козлова, попутчица правилась ему.

В новой меховщине она выглядела неуклюжим медвежонком. Это смешило Ильдара, но наметанным глазом тундровика он все-таки успел заметить, что Светлана сменила на торбасах матерчатый верх, через который продевается веревка, да и сама веревка была заменена на шелковый шнурок (это уж зря, — подумал Ильдар, — шелк держит плохо), и камлейка была выстирана и заштопана...

«Да, — подумал Ильдар. — Д-да».

Собаки шли хорошо.

Собаки всегда чувствуют настроение человека. И даже те четыре, которые в упряжке были чужаками, бежали спокойно. Ильдаровские псы их не тревожили, Ильдар не кричал на них, не волновал, он подставлял лицо солнцу, молча протя-

нул Светлане свои запасные темные очки, было ему хорошо, и думал он о том, что вот попутчица, на удивление, толковая: не спрашивает ни о чем.

Любил Ильдар тишину и молчание, не любил, когда растревляли его в пути ненужными разговорами, потому что ведь никогда нельзя насмотреться на тихие снега, на бегущих собак, никогда не наслушаешься музыки мартовского следа...

Ильдар остановил нарту.

— Будем чай пить? — спросил он.

— Бу-удем, — нараспев сказала Светлана. Ей было тепло. Она сбросила малахай. И Ильдар вдруг обнаружил, что она очень симпатична, даже красива, особенно эти наивные искрящиеся, как снег, глаза, радостное лицо и желтые длинные волосы. «Наверное, они пахнут снегом и солнцем», — подумал Ильдар.

Она вылепила снежок, запустила им в Ильдара, он засмеялся, а снежок пролетел мимо, попал в собаку, а та не вздрогнула, не дернулась, она обернулась и тихо легла рядом с нартой, и морда у собаки была благодушной, спокойной. Собаки, как и люди, умеют радоваться весне.

К вечеру нарты подкатали к избушке.

— Здесь будем ночевать, — сказал Ильдар. — Ты устала?

Она молча кивнула.

Он постелил ей кукуль, помог снять кухлянку, растопил печь, зажег свечи и поставил чай. Она забралась в спальный мешок, он сделал ей изголовье из кухлянки, она благодарно улыбнулась.

— Устала?

— Немножко болит голова... Вот попью чай, и пройдет.

— Ага... это просто от длинной дороги.

Ильдар пошел кормить собак.

Он их распряг, посадил каждую на цепь, отпустив только двух вожakov. Дал каждому псу по юколе, потом подумал и, махнув рукой, нарезал десять небольших ломтей нерпичьего жира и тоже бросил каждой собаке. Собаки поскуливали, как и всегда, перед кормежкой.

Ильдар впустил одного из вожakov в избушку, тот вошел и лег в углу, у порога.

Чай кипел. Ильдар склонился над Светой. Она спала. Тогда он отодвинул чайник, поставил котелок и принялся готовить ужин.

Сооружал он ужин неторопко, стараясь не шуметь: никогда нельзя будить человека, даже если он заснул голодным.

Ильдар поужинал, залил термос свежим чаем, поправил изголовье Светланы, надеясь, что она проснется и тогда поужинает, но она спала крепко, и он вздохнул, задул все свечи, кроме одной, постелил в углу свой кукуль, но не забрался в

него, а лег сверху: в избушке уже было тепло, и подумал о том, что сны ему сниться не будут, что устал он дьявольски, а у Вутильхина надо бы починить алык, перегрыз он его, молодой еще, не привык к упряжке, да и встать бы надо пораньше, пока солнце холодное и крепок наст... а девчонка ничего... хоть и первый раз в тундре... ничего... вот только красива больно, не для тундры... и волосы нездешние... солнцем, наверное, пахнут или снегом...

Он встал, подошел к Светлане, поправил ей прядь, наклонился, осторожно поцеловал, рассмеялся — хоть дорога и была длинной, но духи не выветрились.

«Да, — подумал Ильдар, — д-да!».

Светлана тихо спала.

Он повернулся и пошел на свое место. Последняя сигарета перед сном — самая вкусная. С последней сигаретой приходит успокоение. Или самые тревожные мысли. Иногда прозрение приходит с последней сигаретой. «Странно, — думал Ильдар, — меня совсем не интересует ее отношение ко мне. Меня интересует мое к ней отношение. Странно».

Завтракали весело. И когда тронулись в путь, Ильдар, смущаясь, сказал ей, что, поскольку им предстоит быть в тундре вместе и ехать долго, пусть она не стесняется и, если ей что-либо нужно, пусть говорит, он остановит нарту, и он то-

же скажет просто, чтобы она отвернулась, и все. Он совсем покраснел, но она сказала:

— Хорошо, Хан-Гирей, хорошо, чего уж там.

И оттого, что она преодолела смущение раньше его, ему стало спокойней.

— Тагам! — крикнул он, пнул зазевавшегося Вутильхина, и нарта рванула.

К ночи они были в стойбище Кунчи. Но на месте стойбища они нашли пустые консервные банки, остатки кострища, весь снег вокруг был перемешан оленьими и человеческими ногами. Ильдар потрогал руками пепел в кострище, размял олений катышек на аргишьем пути, прошелся по следу аргиша, вернулся и сказал Светлане:

— Они откочевали вчера.

— А что теперь делать?

— Собаки устали... Будем ночевать. Догонять будем завтра. — Ильдар начал распаковывать кладь.

— Они ушли на весеннюю стоянку. Туда, где будет отел. Это в двух днях пути. Но мы догоним, не грусти... Помоги поставить палатку.

Деревянных стоек не было, и леса вокруг тоже не было, и вместо стоек для палатки Ильдар использовал карабин и ружье... Ружье он возил, чтобы охотиться на куропаток, а карабин... карабин, он пригодится всегда. Вместо колышков растяжки укрепили на нарте, а с другой сторо-

ны взяли камни, которыми был обложен очаг. Маленькая двухместная палатка стояла крепко.

Потом Ильдар кормил собак, а Светлане поручил костер. Она набрала веток, испортила полкоробки спичек, но костра не получилось. Ильдар дал ей огарок свечи и научил нехитрым премудростям тундрового огня.

На пол палатки Ильдар бросил оленью шкуру с нарты, потом затащил туда кукули, сказал, чтобы Светлана располагалась, и, если она хочет, он чай принесет ей в палатку.

Светлана не возражала.

А через два часа завеселилась пурга, она напала сразу, как снег с неба, но в палатке было хорошо, в кукулях тепло, и термос под руками — значит, все нормально. И очень уютно было в палатке, спокойно было Светлане, странно было Ильдару. Он прислушивался к тому, что с ним происходит. И удивлялся. Он вздыхал и курил.

Раньше всю жизнь Ильдар заботился только о себе и о родителях, когда они были живы. Он привык только к себе и считал, что знает себя хорошо. Но вторгается в его жизнь эта женщина. Он поймал себя на мысли, что сейчас эти заботы ему радостны, что ему не безразлично, тепло ей или холодно, сыта она или голодна, будет ли видеть сны и какие...

Потом еще двое суток гнал голодных собак

Ильдар, кончилась юкола и жир, и пришлось шесть куропаatok разделить на десять собак, вернее, пять куропаatok пришлось делить, потому что одну птицу они разделили со Светланой, и только на пятый день их знакомства достигли они наконец Кунчи, и рад был Кунчи дорогим гостям, и в стойбище был праздник...

Но перед праздником было вот что.

Смотрел Ильдар на Светлану, на кислое лицо ее — и все вдруг понял.

«О аллах, — подумал Ильдар, — да ведь она целую неделю, не раздеваясь, в меховщине! Куда глядели мои глаза? И, конечно же, она болеет. Кретин, — ругал он себя, — о чем ты думал?»

Ильдар пошептался с Кунчи, старухи поставили на огонь большой котел, как для варки мяса, потом сходили за льдом и снегом и наполнили снегом ведро. Светлана сидела, понурившись, у костра.

Вода согрелась. Все ушли из яранги.

Ильдар закрыл вход, положил камень, бросил рядом с костром старую оленью шкуру и сказал Светлане:

— Раздевайся.

Она непонимающе смотрела на него.

— Раздевайся. Здесь не холодно. Вот вода. Я тебе буду помогать.

— Нет. Нет... — Она испуганно вскочила. — Нет!

— Ох! — устало вздохнул Ильдар. — Не разговоры с тобой заводить я сюда приехал. И не нужны мне твои прелести. Я устал и хочу спать. Но пока ты в тундре, ты будешь слушать меня. Не хочешь же ты, чтобы сейчас тебя раздевал Кунчи. И учти, когда я буду мыться, ты мне тоже будешь помогать. Баш на баш, я на общественных началах, ничего не делаю, — отчаянно врал Хан-Гирей.

...Кружки были маленькие, и поливал ей Ильдар из большой алюминиевой миски. Она сидела на корточках, оленья шкура была мокрой и теплой, и ногам ее было тепло. Огонь костра слабо мерцал в темной яранге.

Потом Ильдар взял кучку ее нижнего белья, бросил в костер, а ей кинул свое большое полотенце. Она закуталась в него. Он полез в рюкзак, достал свое теплое китайское белье, протянул ей и сказал, чтобы она поторапливалась.

Светлана оделась. Он провел ее в полог, зажег там керосиновую лампу, дал ей гребень и зеркало, и все, что было в ее сумочке, а сам ушел, потому что мужчина не должен смотреть на то, как женщина постепенно возвращает свою красоту.

Пили чай и готовились ко сну.

Ильдар не хотел, чтобы Светлана спала между ним и кем-то еще, и велел ей занять место с краю. Сам лег возле. Рядом с ним лег Кунчи, рядом с Кунчи его сынишка, рядом с сынишкой

совсем голый старик, отец Кунчи. Он накрылся шкурой, потому что стеснялся. Слабо горела копилка.

Две старухи спали в чоттагине, они были в керкерах, и им было не холодно. К тому же им предстояло рано встать и готовить костер. И утренний чай.

В маленьком пологе, где сейчас разместилось пять человек, сразу стало тепло и душно.

— Лучше голову высунуть наружу. А вместо подушки положи малахай, — шепнул Светлане Ильдар. И показал, как это делается.

Закурил. Светлана лежала рядом и долго смотрела на тлеющие угли. Потом свернулась калачиком. А Хан-Гирей курил.

Светлана долго ворочалась, ей было непривычно на новом месте. Потом она шепнула ему «спокойной ночи» и поцеловала в ухо. Разделила малахай, их первую совместную подушку, пополам, легла ему на руку, прижалась и затихла.

Желтые сухие волосы рассыпались у него на руке. Он закрыл ими лицо. Теперь волосы пахли снегом, солнцем и немножко дымком костра.

«Интересно, что ей сегодня приснится?» — подумал он.

## ЭТОТ ВРЕДНЫЙ МАЛЬЧИК ШИШКИН

\*

Рассказ

Шишкину шесть лет, он из меня всю кровь выпил. Я приходил с работы, оглядываясь. Шел по коридору на цыпочках. Но на кухне он выросстал передо мной, руки в карманах, и смотрел, набывчившись.

- Павел, ты стал поздно приходить домой.
- Не твое дело, Шишкин.
- Павел, ты стал еще позднее приходить.
- Я тебе сказал, не твое дело. И потом тебе давно положено спать.
- Я спал, но мне стало скучно.
- Ты вымогатель, Шишкин.
- Павел, ты обещал рассказать о Юге, но еще не рассказал.
- Сказку?
- Нетушки, сказки я сам знаю.
- Тогда дай мне спокойно поесть.

— Я картошку почистил... — спокойно отвечает Шишкин.

Я поперхнулся. Такие подвиги за Шишкиным не числились.

— Покажи.

Он приносит кастрюлю.

— Молодец. А теперь налей в нее воды. У нас будет что на завтрак.

Шишкина я знаю с первых дней рождения. Зовут его Витя. Мать не хотела его, но рожать ее заставил врач. Родив, она вскоре оставила Витю на руках отца, моего друга. Мы жили в одной квартире.

Витька был наш, и, пожалуй, мы с его отцом относились к нему одинаково, и он платил нам одинаковой любовью. Может быть, оттого что всегда рядом с собой Витька видел нас обоих. Когда он научился говорить, я задал вопрос, который от нечего делать задают всем детям:

— Как тебя зовут, пацан?

Он ответил, не картавя и не шепелявя, а твердо и с достоинством:

— Шишкин.

С тех пор я его иначе и не называл.

Сейчас его отец бьет китов в Беринговом море, он будет плавать полгода, а мне поручено отвезти пацана на Юг, к бабушке, когда будет у меня отпуск.

Отпуск у меня начнется вот-вот, но я люблю

Шишкина и боюсь за него и не хочу везти его даже к родной бабке.

— Ты уже лег? Ну и молодец. Послушай, Шишкин, я сегодня устал и ничего рассказывать тебе не буду. Просто через неделю мы вместе поедем на Юг, и ты сам все увидишь, ладно?

— А через неделю — это сколько?

— Ну давай руку. Вот здесь все пальцы, и на этой два. Вот столько дней должно пройти.

— Много... — разочарованно вздохнул он.

— Нет, Шишкин, не много. Вот столько раз тебе нужно спать.

— А сегодня считается?

— Да, считается.

— Тогда я буду спать быстро-быстро, чтоб скорее все эти пальцы проходили.

Он зарылся с головой в подушку и закрыл глаза.

— Спокойной ночи, Шишкин!

Я поцеловал его и пошел к себе.

Вот уже вторую неделю мы в Хабаровске. Шишкин загорел, научился плавать, все погожие дни мы проводим на левом берегу Амура, с палаткой и костром, Шишкин пристрастился к рыбной ловле.

Все ему было вновь — начиная с мороженого, которого в наших краях нет, и кончая обилием



автомашин, которых до этого Шишкин никогда не видел. В нашем поселке на Чукотке была всего одна дорога и две легковых автомашины. Эти единственные машины умудрились столкнуться на единственной дороге, их увезли паромом чинить, и больше мы их у себя не видели.

Однажды, когда я возился с костром и мастерила печеную рыбу, Шишкин прыгал вокруг на одной ноге, вытряхивая из уха воду, и напевал что-то очень знакомое... Я прислушался. Это была наша песня, — моя и его отца. Мы сочинили и этот мотив, и эти немудреные слова. Отец Шишкина китобой, и песня, естественно, была о ките.

Один очень добрый и странный кит был знаменит на всю Антарктику. Он был знаменит своей странной любовью. Когда его китиха сказала: «Поплывешь за мной на край света?», — он поплыл. «Вот чудачки, — удивлялись другие киты, — стоит ли плыть на край света? Разве здесь плохо?» Но эти двое побывали на краю света, побывали во всех морях, их трепали разные штормы, но они никогда не разлучались. Так и плавают по свету. И когда их встречают китобой, они не расцехляют своих пушек.

— Рано тебе, Шишкин, петь такие песни...

И я подумал, что неплохо бы парню зверя какого-нибудь добыть. Или собаку. Ребенок должен опекать живое существо, тогда он вырастет

добрым. Было решено поехать в следующее воскресенье на базар.

...Воскресенья Шишкин ждал с нетерпением и утром встал рано, не капризничая.

Птиц в клетках Шишкин не хотел, а больше ничего интересного в живом ряду не было. И только в конце ряда в цинковой ванночке у старика корейца ползали ужи и несколько черепах. Шишкин их видел впервые, глаза его горели любопытством, он проворно схватил ужа и начал рассматривать его головку, потом сунул его в карман и вопросительно посмотрел на меня. Я купил ужа. Признаться, я боюсь их брать в руки. И я был рад, что мы с отцом Шишкина никогда ничем не пугали мальчишку. Наверное, с такой же непринужденностью малыш положил бы за пазуху небольшого аллигатора.

— А черепаху ты не хочешь?

— Хочу...

Мы уходили с базара. В руке Шишкин нес черепаху, то и дело заглядывая в карман, где, свернувшись колечком, дремал уж.

— А какая польза от черепахи? — спросил мальчик.

— В общем-то никакой... Главное, они вреда не приносят...

— Нет, — сказал Шишкин. — Мне какая польза?

«Ого! — испугался я. — Это-то у него откуда?».

— А зачем тебе польза?

— Просто так... чтобы знать...

— А просто так — наблюдай ее, учись у нее спокойствию. Когда пойдешь в первый класс, подаришь школе, отнесешь в живой уголок. Ладно?

— Хорошо, — согласился Шишкин.

Мы шли молча.

— Я кормить ее буду, — вдруг твердо сказал Шишкин.

— Правильно. А как же иначе?

— А чего они едят?

— Разное... траву, стебли горькие, мясо, хлеб... колбасу можно, яблоки... молоко.

— Тогда прокормлю! — обрадовался Шишкин.

При выходе у базарных ворот молодой человек держал на коротком поводке овчарку. Шишкин, привыкший к добродушным чукотским собакам, потянулся было погладить ее, овчарка зарычала, и я удержал его:

— Ты не дома!

Овчарка вертелась у ног своего хозяина, поскуливала.

— Продаешь?

— Да.

— Павел! — потянул меня Шишкин. — Павел!

Мы отошли в сторону.

— Чего тебе?

— Не покупай ее, Павел. Ты видишь, она не хочет, чтобы ее покупали.

Овчарка лежала, уткнув голову в ботинок парню и обхватив его ногу лапами.

Я подошел к парню.

— Это очень хорошая собака. Отличная породы.

— Да, — сказал он.

— Ей всего еще четыре месяца.

— Четыре с половиной...

— Не продавай ее. Ты видишь, она тебя любит.

— Я знаю... Но у меня нет выхода, — грустно сказал парень.

— А если бы у тебя не было собаки? Где бы ты взял деньги?

— Украл бы... — тихо сказал парень. Потом подумал. — Но воровать я не умею...

И я представил: вот Шишкин смотрит расширенными от ужаса глазами, как уводят собаку и как собака плачет.

— Идем, Витя, домой!

Мы быстро пошли на стоянку такси.

В машине я успокаивал мальчика:

— Если он ее продаст, она попадет в хорошие руки.

— Почему?

— Плохой человек покупать собаку не станет.  
— А если он ее посадит на цепь?  
Настроение было вконец испорчено.

В Хабаровск мы с Шишкиным приехали только потому, что мне давно было пора выяснить отношения с Людмилой. Я ждал ее. Афиши извещали о скором возвращении ее труппы. Вечерами я пропадал в Доме актера и таскал с собой малыша. Персонал привык к Шишкину, старушки его любили, не сердились, что он поздно засиживается со мной, за глаза мне сочувствовали и называли отцом-одиночкой.

Шишкин вел себя корректно. Во всяком случае, мне на него не жаловались.

Я заметил, что Шишкину нравятся стихи. Если он не совсем вникал в смысл, то музыку стиха, музыку слов он чувствовал как-то инстинктивно. И когда однажды в Доме актера объявили поэтический вечер, я взял с собой Шишкина. Он восторженно аплодировал каждому поэту, ему, наверное, нравилась новая непонятная работа, какую выполняли взрослые дяди. Он смотрел на них, как на живые книжки, и уговорил меня скупить сборники всех авторов, которые на вечер присутствовали.

За автографами Шишкин ходил сам и получил их вне очереди.

Потом объявили кино. Идти никуда не хотелось, и мы остались. Это был тяжелый военный фильм. Шишкин вышел из зала сумрачный, сосредоточенный. Он думал о чем-то. Зря мы с ним остались на этот фильм.

В баре я усадил его за журналы, принес чаю, а мы с ребятами налегли на кофе.

— Почитай мне, — подошел через полчаса Шишкин и протянул журнал. Он уже знал, что, если строчки расположены столбиком, — то это стихи.

Поэтический разворот журнала был представлен четырьмя авторами. Над каждым стихом или подборкой — портрет. Три солдата и один офицер.

Шишкин показывал пальцем, а мой товарищ — актер выразительно ему читал.

— Нравятся?

— Нравятся, — ответил Шишкин.

Он о чем-то думал.

— Павел, — спросил он, показывая на портреты, — они солдаты, а он командир?

— Ну раз он офицер, значит — командир.

— А почему командир пишет стихи хуже, чем солдаты? Разве так бывает?

Мои друзья расхохотались. Они сгрудились вокруг Шишкина.

— Павел, а ты солдат или офицер? — продолжал Шишкин.

— Ну, если будет война, буду офицером...

— Значит, ты тоже пишешь плохие стихи?

Смех за нашим столиком уже привлекал внимание.

— Ну не то чтоб плохие, а просто хуже некуда...

— Павел, — серьезно, думая о чем-то своем, сказал Шишкин, — если будет война, давай на нее опоздаем...

Все вдруг замолчали, и стало удивительно тихо. Каждый, наверное, думал о том, что если начнется война, то опоздавших на нее не будет.

Пора было отводить Шишкина в гостиницу. У него сегодня слишком уж много впечатлений, и я стал бояться за его эмоциональные перегрузки.

Наконец Людмила приехала.

— Завтра ты пойдешь в театр.

Это слово для Шишкина не значило ничего, и к известию он отнесся спокойно. Я купил ему билеты на все дневные спектакли ТЮЗа, сам был только на премьере, а свободное время Людмилы было нашим с ней временем. Надоело вспоминать, надоело жить прошлым, пора было что-то решать, а до моего отъезда оставалось несколько дней.

...В последнем действии пьесы она не участвовала, я зашел к ней в комнату поторопить ее. Мы должны были дождаться Шишкина и ехать втроем за город. Но она не была готова.

— Что случилось, Людмила?

Она отвернулась от зеркала и грустно взглянула на меня.

— Вот, посмотри, — встала она и сняла кофточку.

— Ну и что? — пожал я плечами. — Я всегда говорил, что у тебя великолепный загар!

— Нет, ты сюда смотри! — она показала на грудь.

Прямо над лифчиком было маленькое синее пятно.

— И здесь, — она показала плечо.

— И тут, — она повернулась спиной.

На ее туалетном столике валялся седой парик Бабы Яги и ее горбатый нос.

— Ничего не понимаю, откуда синяки?!

— Они... — голос ее дрожал. — Они... ребята... стреляют в меня из рогатки!

И тут меня осенило.

— Дуреха!! — завертел я ее. — Радоваться надо! Они же не в тебя стреляют! Они в Бабу Ягу стреляют! Это же лучшая рецензия на твой спектакли!

— Ре... цензия... — всхлипывала она, — тебе рецензия... а если в лицо попадут... или в глаз...

Приглушенно донеслись аплодисменты. Это закончился спектакль.

— А ну-ка быстрей!

Я схватил парик, надел на Людмилу, приклеил ей нос, набросил на нее черную хламиду, потащил за собой.

На сцену мы вышли вместе. В зале царил галдеж, зрители не расходились.

— Дети! — обратился я к ним. — Дети, тише!

Я выждал паузу. Из-за кулис на меня растерянно глядел режиссер. Я придал своему голосу как можно более мягкие нотки.

— Дети! — проникновенно обратился я к залу. — Кто из вас стрелял в Бабу Ягу?

Зал выжидательно молчал.

— Ну хорошо. Вот вы видите Бабу Ягу?

— Видим!! — завопил зал.

— А это вовсе и не Баба Яга!

Я снял с Людмилы парик, отцепил нос и развел руками.

— Видите, перед вами тетя. Красивая тетя?

— Красивая... — сказала маленькая девочка из первого ряда.

— А вы в нее стреляете... Нехорошо!

— Это не тетя! — вдруг крикнул кто-то, и в зале снова поднялся шум. — Это Баба Яга фокусы показывает!!

Тишину восстановить было невозможно. Когда я повернулся, чтобы проводить Людмилу за

кулисы, что-то острое впилося мне под лопатку. Я понял, что это месть за разрушенную сказку.

Пришлось спуститься в зал.

— Ребята, — ходил я между рядами, — кто хочет посмотреть вблизи Кащея Бессмертного?

— Я!

— Я!

— И я!

— Я тоже хочу!

— Тише, ребята! Давайте договоримся. Тот, кто отдаст мне рогатку, пойдет со мной и посмотрит Кащея. А потом я рогатку верну.

— Не-е-т... — засмеялись в зале.

— Не вернете! — решительно сказал беленький мальчик с крайнего кресла.

И тут я увидел Шишкина. Он шел к беленькому мальчику. Мальчик встал. Шишкин был на голову ниже. Губы его дрожали. И поза его обычная, когда он сердит — руки в карманах, согнутые плечи, взгляд исподлобья.

— Павел никогда не обманывает! — сказал Шишкин.

Он полез в карман брюк и протянул мне свою рогатку.

Я остолбенел.

Маленькая рогатка с тонкой резинкой. Из таких мы стреляли в детстве на переменах проводочными пулями.

Беленький мальчик, поколебавшись, тоже протянул мне рогатку. Еще трое подошли и отдали свое оружие.

— Ну что ж, идемте!

Маленькая девочка из первого ряда тронула меня за рукав. Она дрожала от нетерпения, любопытства и предчувствия страха:

— Я тоже хочу... — умоляюще просила она. — Я тоже хочу, но у меня нет рогатки.

— Ну, это не беда.

Я взял ее на руки, и мы пошли за кулисы.

Кащеем оказался веселый студент из театрального училища. Он смешил детей до слез и угощал конфетами. Режиссер ходил довольный, потирал руки, подмигивал мне, я чувствовал, что ко всему он относился как к продолжению спектакля. Я же чувствовал себя усталым, как после целого дня физической работы.

Людмила печально и добро глядела на злодея Шишкина.

— Ну вот, ребята, а теперь можете забирать свои рогатки, — бросил я их на стол.

Каждый осторожно взял свою. Шишкин подошел последним. Я кивнул Людмиле, чтобы она оставила нас вдвоем. Предстояло объяснение с Шишкиным.

Мы молчали довольно долго.

Потом Шишкин сказал, глядя в упор:

— Я знаю, она не всамделишная Яга, а пона-

рошку... но зачем она Иванушку и Аленушку!... — Он снова начал волноваться.

— Ладно, Шишкин, ладно. Успокойся! Ты же не будешь больше?

— Нет.

— А ребят ты подговорил?

— Я.

— А тетя Людмила тебе нравится?

— Когда она не Баба Яга — нравится, — улынулся Шишкин.

Втроем мы поехали за город, на левый берег Амура. Людмила потрошила рыбу, а мы с Шишкиным пошли собирать на длинной песчаной косе плавник и сушняк для костра.

— Павел, мы скоро поедем домой?

— Скоро.

— А тетю Люду мы возьмем?

— Не знаю.

— Я хочу, чтоб тетя Люда ехала с нами!

— Очень хочешь?

— Да.

— Тогда давай мне дрова, иди и сам скажи ей об этом!

Шишкин шел, приплясывая и напевая нашу песню, нашу с его отцом песню о ките:

— Он просто жил, он просто жил.  
Хвостом мутил морскую воду.  
Еще китёночку любил  
В ненастную погоду!

Шишкин сделал стойку на руках, перевернулся, побежал.

— Он знал, что это неспроста,  
Ворчало сердце глухо.  
Любил от кончика хвоста  
До самой мочки уха!

— Эй, Шишкин, рано тебе петь такие песни! — Людмила махала рукой, звала нас. Шишкин бежал к ней. Из заднего кармана его джинсов выглядывала рогатка.

## ДВА МОРЖА

\*

Рассказ

Утоюк был справедливым человеком. И когда его упряжная сука Тильда родила шесть черных глянцевого комков и четыре из них тут же умерли, он взял одного щенка и отнес его печальной лайке Чёны, потому что у той умерли все. Все щенки, которых она родила три дня назад.

Утоюк не понимал, в чем дело.

— Ты бил собак, когда они были беременны, Утоюк. Ты не хотел этого делать, Утоюк, но ты это делал.

Утоюк жевал табак и меланхолично сплевывал.

— Да, — сказал он.

Зря я его обидел.

Я гожусь Утоюку в сыновья, младшие сыновья. Но Чёны (так называл Черную Утоюк) моя собака. Я ему ее подарил, потому что она

была настоящей собакой. И дарить принято только настоящие вещи, а у меня ничего не было, чем бы я так дорожил. И я отдал ему Чёны, потому что знал, что Чёны все равно обо мне скучают. Вот почему я всегда приезжал к Утоюку, даже если мой путь лежал совсем не в ту сторону.

Чёны всегда узнавала меня, я кормил ее с рук, и сейчас, услышав мой голос, она выскочила, уперлась передними лапами мне в живот, моргала слезливыми глазами.

Может быть, Утоюк ревновал Чёны? Тогда почему Тильда оценилась мертвыми? Нет, он их бил одинаково.

В тот вечер мы поссорились с Утоюком. Когда он кормил упряжку, мне показалось, что куски жира были маленькими. Рубленые тушки песцов и копальхен были в одной миске, нерпичий жир в другой.

Мясо песцов — не еда, это уж не от хорошей жизни, собакам нужен жир, и Утоюк мог бы сделать куски побольше. И я демонстративно стал кормить отдельно Тильду и Чёны.

Утоюк обиделся. Это было видно по его насупленному молчанию.

Но долго молча не высидишь, и пришлось идти на попятный:

— Не сердись, Утоюк. Упряжка хорошо работает, не надо жалеть мяса. У тебя ведь еще

есть неоткрытая яма. Там целый морж, я знаю. Чего ты жмешься?

— Нерпа совсем не ловится... — тихо роняет он.

— Скоро льды уйдут, кромка будет близко. Будет и нерпа.

— Зима плохая... ты знаешь... Весна тоже плохая будет...

Мне хочется подбодрить старика:

— Но ведь охота у тебя хорошая! Песцов больше, чем у Тымкувье, я заезжал к нему.

Утоюк молчит. Тымкувье его конкурент. Тымкувье его сосед по участку, в сорока километрах его избушка.

От известия лицо старика не изменилось. Но я знаю — Утоюк доволен. Если он обогнал Тымкувье, значит, он в колхозе обогнал всех.

— Умк'этэ гат'айытчаленат ыннанмытлын'эн... Э'тки...<sup>1</sup>

— Сколько?

— Шесть...

— Ты его видел?

— Ваневан... нет... не видел.

— Мы убьем его, обязательно, — успокаиваю я старика.

Старик кивает головой. Спрашивает:

— Поедем вместе?

<sup>1</sup> — Шесть песцов умка разорвал... плохо... (чук).



— Конечно!

— Завтра, — говорит Утоюк. — Я следы видел. Догоним!

— Хорошо.

Вот мы и помирились, теперь у нас общая забота. Теперь можно долго пить чай и выкладывать все новости с момента последней нашей встречи.

— Ты долго не приезжал, — начинает Утоюк и ждет.

— Я был в отпуске, в Хабаровске. Только чуть дальше. На берегу реки. В тайге.

— Охотился?

— Отдыхал. Рыбу ловил. Немножко стрелял. Видишь, поправился как! — И я хлопаю себя по животу.

Утоюк смеется.

Больше всех разговоров любит старик рассказы про охоту на зверей и птиц, которых он никогда не видел, на которых сам не охотился. Он выписывает журнал «Охота и охотничье хозяйство», но по-русски не читает, а редкие его гости знают, что на второй день их жизни в избушке старик достанет комплекты журнала и попросит почитать вслух те страницы, на которых фотографии и рисунки невиданных зверей.

Меня старик любит за то, что во время чтения я часто отвлекаюсь и скучную специальную статью расцветиваю придуманными подробнос-

тями из других когда-то читанных книжек и историй. Я даже подозреваю, что однажды он одну и ту же статью дал читать нескольким, и теперь его выбор остановился на мне, и мне читать приходится больше, чем остальным.

Но сегодня я читать не буду. У меня есть что рассказать. Я провел отпуск в тайге, где Утоюк никогда не был, и ему многое будет интересно. И про токующего глухаря, и про самую вкусную рыбу в мире — калугу, и про драку лосей, и про черепах в зоомагазине — сто штук в одной ванной.

Утоюк думает о медведе.

— Мы пойдем к нему завтра? — еще раз перед сном спрашивает он.

— Пойдем.

— Ты будешь стрелять, — говорит старик. Это значит — он мне его дарит.

День полон солнца, но морозен. Все-таки скоро весна. Неотвратимость ее в звоне ломких стекляшек наста, в слепящей белизне торосов, в особом запахе ветра, когда он идет оттуда, с океана. Наши капканы в море, в торосах. Мы уже сняли двух песцов.

Собаки идут хорошо, у нас и у них хорошее настроение.

— Скоро кончится сезон, — говорит Утоюк.

Я знаю, на что он намекает. Скоро кончится время охоты на песцов, к нему приедут гости — Тымкувье приедет, председатель приедет вездеход, и сам, наверно, приедет, приедут чукчи с других дальних участков и состоится праздник окончания охоты. В прошлом году я был на таком празднике. К нему готовятся загодя, как только приходит вездеход или трактор с продуктами на сезон, как только добывается первый песец.

У первого песца Утоюк отрезает хвост, уши, лапки. Можно и целиком его оставить, — это не меняет дела. Из ящичка с чаем оставляется первая плитка чаю, из других ящичков — первая банка сгущенного молока, первая пачка сахару, из туши оленя — первый кусок, ляжка. И все это хранится до окончания охоты. Хранятся и черепа всех добытых песцов. Черепа расставляются на снегу в треугольник, как шары на бильярдном столе, во главе этого треугольника череп песца, который пришел в капкан первым. Его зубы смазывают жиром, на остальные кидают кусочки мяса. И капканы, которые работали в этом сезоне, лежат в отдельной куче. На них тоже кидаются кусочки мяса. Горит небольшой костерок, на нем готовится чай и еда.

В стороне гости выставляют в линию свои подарки — ставить можно все, что ты решил подарить: консервы, отрез на камлейку, связку кожа-

ных ремней, нерпичью шкуру, что-нибудь из посуды, — любое.

Участники соревнований бегут до мыса и обратно, финиш у черты с подарками, и каждый подбежавший хватает то, что ему понравилось, но ни в коем случае не то, что поставил сам. В этих соревнованиях проигравших не бывает — каждому достается приз.

Потом, когда все влаеть прокомментировали бега, воздав должное первому и успокоив последнего («ты бы тоже пришел первым, если бы не запнулся на старте, если бы перепрыгнул плавник, а не обегал его, если бы...» и т. д. — все великодушно отыскивают тысячу причин), начинаются соревнования по стрельбе. В них могут принимать участие и женщины.

После соревнований трапеза.

В прошлом году Утоюк приковылял последним. И мой приз — бутылка «Старки» досталась Тымкувье. Я прибежал предпоследним, мне достался песец, его выставил Тымкувье. У меня было время отдышаться, а старик все еще бежал. На снегу стоял последний приз — термос.

Я вытащил из рюкзака флягу и поставил рядом. Когда Утоюк пришел к финишу, он в растерянности остановился. Он один, а подарка два. Что делать? Но кругом был веселый галдеж, все кричали, чтобы он брал термос, и Утоюк взял... флягу.

Нам весело, мы вспоминаем прошлогодний праздник.

— Ты останешься? Подождешь?

— Не знаю...

— Будет хорошо... люди приедут... — уговаривает старик.

Мы сворачиваем в распадок.

Нарта останавливается, старик изучает следы. Следы идут из моря в сопки.

— Сытый умка, не злой... — замечает Утоюк.

— Почему?

— Следы большие, круглые. Смотри. А когда голодный он — след узкий, длинный.

Мы едем дальше, в конец распадка. Туда ведут следы. Собаки почуяли что-то, они волнуются, они бегут быстро. Старик резко осаживает их, вбивает остол между копыльев нарты, достает карабин.

Теперь и я вижу.

До сопки метров двести, но ветер на нас, и зверь нас не чует. Большая желтая на ослепительном снегу медведица копошится на верху сопки, потом садится и съезжает на задку вниз, совсем как школьница на портфеле с ледяной горки. Рядом с ней кубарем скатывается медвежонок. Она дает ему легкий шлепок, и они снова наперегонки весело бегут в гору.

— Играет... — шепчет Утоюк.

Мы долго смотрим на их игру, потом Утоюк

оборачивается и смотрит на меня. Я пожимаю плечами, ставлю затвор на предохранитель и кидаю карабин на нарту. Старик улыбается, прячет карабин в чехол из нерпичьей шкуры, разворачивает нарту, и мы едем домой.

— Это ведь не наш медведь, правда?

Старик кивает.

— Наших песцов трогал другой, да?

Старик кивает.

Мы себя уговорили, и нам легче от несостоявшейся охоты.

...Дома старик долго возится, готовя собакам ужин. Я вижу, что куски сегодня побольше.

— Что-то ты им многовато сегодня наредаешь, а?

Старик улыбается своим мыслям.

На улице полыхает костер. Стоят морозные дни, и собакам нужна теплая еда, я готовлю ныпаны — собачий суп. В большой чан кидаю пласты снега, потом много мерзлой крови и нерпичий жир с маленькими кусочками мяса. Потихоньку от Утоюка кидаю в ныпаны несколько горстей муки и размешиваю все доской от ящика. Чай мы пьем у костра, на улице.

— Ты останешься на праздник?

Я ухожу в избушку. Возвращаясь, прячу кулак за спину:

— Угадай!

Он удивленно молчит.

Разжимаю ладонь. Старик смеется. На ладони два кубика из моржового клыка. Их сделал мне Утоюк по типу игральных костей. Только вместо шестерок на каждом кубике — голова моржа. Гравировал тоже Утоюк. Этот подарок всегда со мной уже три года.

— Дай кружку!

Старик выливает остатки чая и протягивает кружку.

— Вот если выпадет два моржа, останусь.

— Три раза кидай, — серьезно говорит Утоюк.

Кости гремят в кружке.

Раз! — двойка и тройка.

Кости гремят в кружке.

Два! — единица и пятерка.

Кости гремят в кружке.

Три! — два моржа.

Высыпаю кубики, прячу их в карман. Старик наливает в кружку новый чай. Интересно, догадался ли он, что я все равно бы остался, даже если бы моржи и не выпали?

## ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМНОЙ ШАР

\*

повесть,  
написанная  
в нечетных  
маршрутах

«Если вам везет — продолжайте.  
Если не везет — все-таки продолжайте!»

Свердруп.

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

*Пролог, в котором автор представляет своих героев*

Кроме весны и лета, зимы и осени, существует особая пора года. Она может начаться в апреле, может в мае, может в начале июня. Это время выброски геологических партий в поле.

Поле... Этим словом живет весь поселок. Когда идет выброска геологических партий, поселок живет в новом ритме и даже те, кто не имеет отношения к геологии, как-то окунаются в этот ритм, в этот климат. И потом, когда последний вертолет увезет последнего геолога, вдруг все удивятся наступившей тишине; первое время всем оставшимся в поселке будет чего-то не хватать, а потом догадаются, что все это долгое тихое время теперь стало временем ожидания, ожидания того часа, когда геологи начнут возвращаться. И в поселке будут ждать каждого, даже если у него в поселке нет никого, совсем никого, как у нашего каюра Володи. Будут ждать друзья, будут ждать жены, будут ждать соседи и знакомые продавщицы, будут ждать девчонка, которую ты пока не знаешь.

Поле... После возвращения с поля в свой маленький поселок вдруг убедишься, что к твоему полю так или иначе были причастны все, а само поле стало просто местом, откуда ты пошел дальше. Эту фразу о «месте, откуда ты пошел даль-

ше», мы нашли у Фолкнера, в его «Городе». Роман был прочитан, изрядно потрепан, и мы пустили его на заворачивание образцов. В странице с этими словами был образец № 106/2, гематитизированная порода.

Каждый человек волен выбирать места, откуда он пойдет дальше. Это зависит от жизненных обстоятельств, убеждений и от того, что ты умеешь делать. Тот, кто работал в геологической партии, может считать, что ему повезло. Я всегда вспоминаю с нежностью о ребятах, с которыми работал.

А пока перед заброской в поле мы еще не знаем, что будем очень дружны. Мы знакомимся и притираемся друг к другу. Этот двухнедельный период перед полем крепко выматывал нас, выбивал из колеи этот «последний нонешний денечек» так, что потом долго еще вспоминалось, но вспоминалось весело, да и начальство смотрело на все сквозь пальцы, потому что знало, что так всегда, что спокон веку обмывают предстоящий выход, начальство ведь тоже ходило в рядовых геологах и знает, что такое поле.

Работать нам предстоит на реке Пеледон. Половина партии уже там. Мы улетим последними, и всего груза хватит на один вертолет.

*Начальник партии Слава Кривоносов.* Завтра на работу Слава явится в черных очках. Он всегда надевал по утрам темные очки, потому что

глаза его выдавали, сколько было накануне тосков и прощаний. И будет он мотаться целый день из камералки на склад, из склада — на вертолетную площадку, с площадки — в морпорт и камералку, сам все проверит, не потому, что никому не доверяет, а просто лучше лишний раз убедиться самому, самому все проверить и пощупать.

Была у Славы одна, но пламенная страсть, кроме геологии конечно, — народный театр. Режиссер отводил ему явно не те роли, заставлял совершать на сцене явно неблагоприятные поступки. В последней пьесе он играл пирата капитана Рулли. Он стоял на палубе, — один глаз был перевязан, в руке — подозрная труба, — и орал не своим голосом «о-кей, мальчики!» и рычал «черт возьми!», и, увлекшись, приставил подозрную трубу к перевязанному глазу, и зал зашелся в хохоте в самом серьезном месте. Спектакль провалился, режиссер принимал валидол, а Слава получил новое имя.

Но Слава был талантлив, и это знали все, даже режиссер. Прозвище за Славой сохранилось, а режиссер по-прежнему давал ему отрицательных героев, и делал Слава свирепое лицо, хотел перевоплотиться, но сердце у него было нежное, человек он был справедливый, и все в зале влюблялись в отрицательных персонажей, которых играл Слава.

А режиссер разводил руками, хватался за голову, за валидол, кричал, что публика ничего не понимает. «Как можно любить этого бандита!» — вопрошал он, а Слава скрежетал зубами, швырял ножи и стрелял из пистолетов, кидал в воду невинных граждан, отдавал города на разграбление, любил сразу всех женщин, а женщины в зале кричали ему «бис» и аплодировали, положительные герои находились где-то в тени, идея пьесы гнила, и в итоге получалось черт знает что.

Ушел Слава из театра. И тосковал по нему. И вздыхал, когда его называли «капитаном Рули».

*Жора Старцев, старший геолог.* Жорина индивидуальность складывалась из того, что он любил и чего он не любил. Не любил он жару, холод, встреч с медведями, своего соседа по камералке Розенблюма, не любил темных ночей, проливных дождей, начальства и не любил, когда нет чего поесть.

Он любил жену. Любил работу. Пельмени он тоже любил. Спокойный увалень с круглым добродушным лицом, Жора славился склонностью к философскому осмыслению действительности. Толстый Жора любил поговорить. О кино, о видах на урожай, о новых веяниях в геологии, о китайской кухне, о политике, об охоте. О женщинах Жора, в отличие от других, говорить не любил.

*Сережа Рожков, старший техник-геолог.* В поле он будет работать в отряде промывальщиков. Кроме того, он радист. А его хобби — фото- и кинодело. Когда он бродит, увешанный камерами по базе, мы чувствуем, что назревает киношедевр. В нашей партии четыре кинокамеры и семь фотоаппаратов. Сережа — кинорежиссер и главный кинооператор на общественных началах.

— Сережа, — говорим ему, — если хочешь быть достойным своего тезки Эйзенштейна, борись за правду жизни. Никакой лакировки действительности — с одной стороны, и никаких сверх героических подвигов — с другой.

И он старается быть достойным. Сережа работает методом скрытой камеры. Сережа изгоняет из кадров слащавость и украшательство.

Когда окончится поле, он получит за свой фильм «На Пеледоне» диплом на областном конкурсе. А сейчас, когда он стрекочет своей камерой, он еще не догадывается, какая слава ждет его впереди.

*Сережа Певзнер, студент.* Он на практике, учится в Московском геологоразведочном институте. В маршрутах будет в связке с Кривоносовым. Певзнер самый молодой в нашей партии. Молодости свойственны ошибки, вот почему он плюет в костер и матерится по утрам. Дома в Москве его ждут бабушка, мама, жена и много

родственников. Они считают, что Сережа попал на край света, и очень волнуются. Сережа же так не считает. Он твердо знает, что интеллигенту поле необходимо как раз для того, чтобы хоть на время избавиться от невыносимого груза условностей, которые гнетут его в городе.

*Володя Колобов, каюр.* Маленький крепыш с веселыми пронзительно черными глазами, он никогда не унывает и умеет делать все. Когда в партии находится человек с такими золотыми руками, как у Володи, можно не сомневаться, что все будет хорошо. Володя умеет водить все марки машин и вездеходов, строить дома, ухаживать за лошадьми, охотиться, печь хлеб, варить щи, готовить ландорики, шашлыки и брагу. Володя умеет приготовить еду на пятерых при минимуме продуктов, отпущенных на одного. Когда мы перегоним лошадей, Володя начнет работать шурфовщиком. Жизнь не баловала его, а чаще всего самые надежные парни — это те, кому часто в жизни было трудно.

Мы сидим на крыльце.

— Пеледонцы, дети мои. Пеледонцы, радость моя, — укоризненно приветствует нас оставшийся за начальника экспедиции Артур Невретдинов.

Мы понимаем его, мы обещаем сегодня-то уж улететь обязательно.

Все собираемся в камералке на последний совет. Еще раз прикидываем, не забыли ли чего.

В камералке — ералаш. Ящики, вещи, книги, мусор, прошлогодние образцы, карандаши, веревки — все, что надо и не надо. Провожать нас, как водится, никто не пришел. Не положено. Да и сколько можно говорить — обо всем переговорено.

В камералке появляется собака — черный лохматый пес с подхалимской мордой. Породу его определить невозможно, наверное, такой породы вообще не существует.

— Бич, проваливай! Марш на улицу!

Мы тоже выходим и грузим вещи. Бича забрасываем в кузов машины.

На вертолетной площадке нас уже ждут. Мы поднимаемся быстро, без задержек и разговоров. Пролетаем над домом экспедиции. Все у иллюминаторов. Каждый взглядом отыскивает свой дом. Еще бы, эти дома мы увидим очень не скоро.

Анадырская тундра залита водой.

Садимся в Марково.

Марково тоже залито водой. От дома к дому путешествуют на лодках. Если у тебя нет лодки, привязанной к крыльцу, не попасть тебе в гости.

— Чукотская Венеция, — комментирует Жора и начинает вслух размышлять о преимуществах водных путешествий.



У нас в вертолете две резиновые лодки, а в чаше лета собственная река Пеледон. Так что водными путешествиями мы на лето обеспечены.

Мы снова в воздухе. Курс — на базу. От грохота винтов и качки Бич обалдел. Он лежит, уткнув голову в лапы, его мутит.

Тундра меняется на глазах. Пошли сопки, тайга. А вот и огромная река.

— Смотри, это Пеледон.

Даже с высоты он внушителен.

На правом берегу видны аккуратные палатки, тоненький дымок из одной, наверное кухни. Площадка отмечена флажками, и вокруг свалены дровья. Нас давно ждут. Еще бы, ребята тут с самой весновки, с апреля.

Первым делом выгружаем почту, передаем приветы и посылки.

Приглашаем пилотов пить чай. В кухне уже все готово.

Пишем письма, все упаковываем, передаем пилотам огромную бутылку с дегтем. Просим осторожно быть с ней и передать в соседнюю партию. Пилоты все понимают. Они знают, что деготь будет спасать лошадей от гноса.

Вертолет улетает. Мы остаемся. Нас двенадцать.

Бесхозный пес Бич, которого мы прихватили в поселке, — тринадцатый член нашего экипажа.

## 1. НЕТ МОРЯ

*Маршрут первый, в котором ничего не происходит, поскольку всё происходит в других маршрутах*

Человек должен жить на берегу моря. Не знаю почему, но человек должен жить на берегу моря. Может быть, это внушение детства. С той поры, как я себя помню, под окнами моего дома плескалось море.

Здесь, вокруг нашей базы, — сопки и лес, — и мне скучно без моря. Не хватает пространства. За пространством надо лезть на сопку.

Жора достал карту и начал мне растолковывать:

— Вот наша база. Вот Большой Пеледон, он впадает в реку Анадырь, та в свою очередь в Анадырский лиман, а лиман — часть Анадырского залива, который в свою очередь является частью Берингова моря. Так что выход в океан мы практически имеем. Это должно вселить в тебя радость, так как грусть — и это замечено крупными специалистами — отрицательно сказывается на работе.

Радость в меня сразу же вселилась, и я поблагодарил Жору.

В тот же день, в маршруте с вершины горы Безымянной (сколько их разбросано безымянных, боже ты мой!), мы в бинокль видели что-то голубое и безбрежное.

Я говорил, что это дымка.

Жора уверял, что видит океан.

Но я вспомнил инструкцию, данную за мину-  
ту до выхода в маршрут начальником партии  
Славой Кривоносовым:

— В маршруте никаких прений. Что сказал  
геолог — то и выполнять. Ясно? Никаких деба-  
тов. Вы не в парламенте, а в тундре.

Мы молчали, а по его глазам было видно, что  
не верит он нам ни на грош.

В маршруты мы ходим с Жорой вдвоем. Так  
будет весь сезон. И еще с нами наш пес Бич,  
которому скучно на базе.

В нашей тройке старший Жора. Он геолог.  
Старший геолог партии. Я подчиняюсь Жоре.  
Я техник. Младший техник-геолог. Бич подчи-  
няется Жоре и мне по совместительству. Нам хо-  
рошо, и мы втроем живем дружно.

У меня прибор. Я слушаю землю, как доктор  
больного. Жора Старцев называет первый марш-  
рут «аристократическим».

Пожалуй, это так и есть. Теплынь плюс 30,  
комаров нет, одеты легко. На базу вернемся  
ночью.

Мы берем образцы, описываем местность, де-  
лаем первую чаевку. В полевую книжку Жоры  
ложатся первые строки: «...полуостанцового ти-  
па коренной выход темно-серых мелкопорфиро-  
вых андезитов. По плоскостям отдельности поро-

да разбита на параллелепипеды. В элювиальных  
развалах появляются осветленные породы типа  
гранитов — гранодиоритов с хорошо выражен-  
ным розовым полевым шпатом. (Образец 2/1).  
Эти развалы протягиваются на первые десятки  
метров. В пятистах метрах дальше — темно-се-  
рые андезито-базальты мелкопорфировые с крас-  
новатопалевыми пятнами, вероятно участками  
ожелезнения. (Образец 2/2)...».

С каждым переходом от точки к точке, с каж-  
дым километром образцов становится все больше  
и больше, рюкзак все тяжелей. Мы идем на вос-  
ток, потом на север, потом на запад, потом на юг  
и на базу.

Тихо. Уходит ветер, спотыкаясь, гасит случай-  
ные костры. А солнце не уходит за горизонт.  
Оно перекачивается по острым гребням гор. Оно  
плавно катится по сопкам. И похоже на новень-  
кий желтый детский мячик. Мы идем вслед за  
ним. Лезем на высоченные вершины, пробираем-  
ся через стланиковые джунгли склонов, прыгаем  
с камня на камень, форсируя ручьи. Такие пей-  
зажи даже присниться не могут — это надо ви-  
деть наяву. Никогда бы не подумал, что Цент-  
ральная Чукотка столь красива. Тут бы лагерь  
организовать пионерский, а не ходить в марш-  
руты!

...В правой руке у Жоры — геологический мо-  
лоток, на согнутой левой лежат образцы, он при-

жимают их к телу крепко, чтобы они не упали, потому что лежат они в строгой последовательности тех точек, откуда мы их брали. На поясе у него болтается револьвер в тяжелой кобуре. Это на случай самообороны, если лютый зверь застанет нас врасплох. Я таскаю карабин, калибра 8,2 на случай охоты, но нападать на нас никто не собирается, а разная дичь ходит, курлычет, мяукает и хрипит вокруг... но не попадает на мушку.

Жора осторожно несет камни. На привале мы будем отбирать образцы, Жора их будет описывать, я на каждый камень наклею кусок лейкопластыря, поставлю номер и положу в рюкзак. И мы пойдем дальше.

О камнях Жора Старцев может говорить до бесконечности.

Мы разжигаем костер на берегу большого ручья. До нас тут костров не жгли. Хорошо быть первым. Первым разжигать костер, первым срывать цветок на отметке тысяча пятьдесят метров, первым прокладывать маршрут, первым слушать тишину на перевале.

— Я и люблю только такую тундру, — говорит Жора Старцев, мой геолог. — А то, бывает, идешь, наткнешься на ржавую консервную банку, сразу настроение портится.

Возвращаемся на базу поздней ночью. Но какая это ночь, если полярное солнце светит всю,

ветер где-то уgomонился в распадке, а теплая тишина как будто ожидает первых петухов.

Ребята оставили нам картошку, колбасу и компот.

Жора включает транзистор, и мы ужинаем. Милый женский голос сообщает, что в Японии жарко, что «дак-дакс» разучили новый шлягер «Еще одну кружку пива».

Забираемся в спальные мешки и намечаем план на завтра.

Завтра Сергей Рожков, наш радист, возьмет пачку писем, оставленных ребятами на базе, и поплывет вниз по Пеледону до Ламутска. Там он бросит почту, возьмет лошадей и через три дня пригонит их на базу. У нас шесть лошадей — это вся наша техника.

Завтра снова маршрут. Завтра снова перед сном я буду вспоминать хорошие сказки. Может быть, среди них будет и о море, ведь Большой Пеледон впадает в мое море.

Возможно, мы здесь что-нибудь найдем, что-нибудь откроем. И на берега Пеледона придут люди. И без всякого труда будут ходить и ездить по тем местам, по которым сейчас лезим мы.

Жора выключает транзистор. Нас в палатке двое. Между нашими спальными мешками приютился Бич. Он тревожно дергается во сне. Лапы у Бича теплые, как руки...

## 2. ЛОШАДИ

*Маршрут третий, в котором читатель познакомится с основной техникой полевой партии.*

В регистрационной книге Мальчик отстоял от Венеры на восемь номеров, а если считать его однолетку Матроса, то Мальчик был на семь лет старше Венеры. Семь лет и для человека много, а для лошади много очень.

Они любили друг друга. Это видели все.

Они никогда не разлучались. Только однажды новый каюр взял себе трех лошадей, разлучив Мальчика и Венеру. На ночевке стреноженный Мальчик пропал. Его нашли на стоянке промывальщиков за 18 километров от нашей. Мальчик стоял, положив голову на крутую черную шею красавицы Венеры. Венера — черная гладкая кобылица в белых чулках и с белой звездой на лбу. Она шевелила теплыми нежными губами, что-то шептала ему. Он слушал, закрыв глаза. Больше мы не разлучали Мальчика и Венеру.

Мы увели их на свою стоянку.

Мальчик идет, понунив голову. Когда смотришь в его глаза — мороз идет по коже. У Мальчика глаза пожилого мужчины. Вот почему он идет, понунив голову. Венера — его последняя любовь. Венера вышагивает, как женщина, которая знает, что на нее смотрят. Наверное, Венера большая грешница, но пока есть Мальчик

с его печальными глазами — Венера будет ему верна.

Кроме них, у нас еще Серый и Богатырь — серьезные степенные кони; крашенная пожилая блондинка Тайга, седая, с желтыми подпалинами на боках. И еще — последний по счету, но не по важности — конь Ганнибал — бандит, тихий негодяй, ворюга с неисправимой биографией, рецидивист, которого собственная репутация давно уже не волнует.

Мальчик — маленький мудрый конь, неторопливый и усталый, но в геологии он работает давно, полевой стаж у него больше всех, и остальные лошади его слушают. Авторитет у Мальчика непререкаем.

Мальчик подходит к Ганнибалу и кусает его в бок. Ганнибал отпрыгивает в сторону и косится и думает, в чем же он виноват. У него накопилось столько провинностей, что даже если его будет бить просто так, на всякий случай, то все равно он будет знать, что за дело.

Минуту назад я ощищал двух уток. И смоллил их на костре. Пока я обрабатывал вторую птицу, Ганнибал неслышно подкрался, наступил копытом на уже обсмоленную утку, разорвал ее и съел.

А вчера каюр второго отряда Афанасьич, ожидая промывальщиков, приготовил им ведро супу. Суп съел Ганнибал, прямо над костром, съел го-

рячим вместе с лавровым листом и стручком перца. Тогда старик Афанасьич, отхлестав коня, открыл несколько банок консервированного борща, и снова приготовил целое ведро. Ведро он прикрыл крышкой и отнес в кусты, тревожно оглядываясь. Ганнибала нигде не было, он пил в ручье воду. Очевидно, суп, который он недавно съел, был пересолен.

Когда промывальщики пришли из маршрута, старик нырнул в кусты и тихо ахнул. Ведро было аккуратно закрыто крышкой, но борща в нем не оказалось. Кастрюля с компотом, что стояла в ручье и охлаждалась, тоже была пуста, а крышка только чуть-чуть сдвинута с места. Каюр сидел у костра и плакал. Промывальщики тихо матерились и ели консервы. Невдалеке пасся Ганнибал.

— Каркадил! Асмадей! — в тихом ужасе стоял Афанасьич, награждая Ганнибала всеми ему известными непотребными словами.

— Горыныч проклятый!.. Плетень!.. Бармалей!.. Синоптик!..

Почему синоптик — этого никто не знал. Очевидно, у старика с ними были свои счеты.

Конь издали поглядывал на людей, и вся его фигура выражала раскаяние... Он как бы говорил, что понимает неблагоприятность своего поступка, но вот он такой, таким его родила мама, и он ничего не может с собой поделать.

В прошлом году у Ганнибала и Артистки родились на конбазе два жеребенка. Они удались в папашу. Наследственность — все явные и тайные пороки были написаны на их симпатичных мордах с первого дня. Жеребята бродили по базе, залезали в палатки-склады и воровали соль, муку, хлеб — все, что плохо лежало. Они украли форму с тестом и слопали тесто. А однажды в селе залезли в дом. Там накануне отмечали чей-то день рождения, и все лежали вповалку. Каюр тоже. Лошади стащили со стола скатерть, съели селедку, хлеб и консервы, съели все, даже окурки.

Каюр гонял их по селу и кричал:

— Посмотрите, какие дети уродились у этих родителей! Разве это лошади? Отцы — и дети! Это же не лошади, это же бандиты!

Сейчас эти «бандиты» трудятся в соседней партии.

Перед полем каждый начальник партии втайне от других составляет список лошадей, которых он хотел бы получить на сезон. Потом посылает гонца на конбазу. Все зависит от расторопности представителя и его умения влезть в черствую душу Главного Конюха, у которого строго дифференцированный подход и к подотчетному имуществу (лошадям) и к начальникам партий. И если ему чем-то не понравился полномочный представитель, Главный Конюх всегда

подсунет Ганнибала вместо Желанного или Матроса вместо Венеры. Что касается нашей партии, то у нас были, пожалуй, далеко не самые лучшие кони. Уже сам факт присутствия Ганнибала, от которого отказались все, говорил о многом. Это как расплата за то, что мы начали сезон позже других.

— Сережа! — спрашивает по радио Рожкова радист соседней партии. — А как там поживает Ганнибальчик?

— Хорошо поживает, хорошо, — радирует ему Сережа. — Вот вчера он Серому хвост объел. Да, хвост. Поставили их в одну связку, и Ганнибал шел последним.

— А вы кормите его, кормите!

— Да кормим, кормим, куда уж больше!

— А вы воспитывайте его, воспитывайте как следует.

В других партиях подслушивают разговор и на другой раз во время сеанса не преминут съехидничать по поводу наших страданий из-за Ганнибала.

...Из маршрута мы вернулись с незабудками. Мы были рады встрече с этими «материковскими» цветами. Но Слава Кривонос и его напарник Сергей Певзнер тоже пришли на подбазу с незабудками. Потом пришли промывальщики Сережа Рожков и Володя Гусев... И принесли цветы.

А выбрал место для подбазы и разбил здесь палатки наш каюр Володя Колобов. Он приготовил ужин и ждал все отряды — наш и промывальщиков. И встречал нас здоровой охапкой незабудок.

Хрупкие синеглазые цветы рассыпаны всюду: на рюкзаках, на спальнях мешках, на «Спидоле», приборах. Цветами увенчана наша белая палатка.

Тонкий аромат незабудок напоминает о том, что существуют другие края, с теплым морем и загорелыми женщинами. А нам вот дарить цветов пока некому.

К костру, где мы ужинаем, подошел Мальчик. Мы и ему воткнули в уздечку, как в петлицу, три незабудки. Мальчик косит левым глазом на цветы, потом идет к Венере. Мальчик и Венера о чем-то шепчутся. Мы давно знаем их лошадиные тайны. Венера одну за другой вытаскивает из уздечки Мальчика незабудки и съедает их. Кто бы подумал, что старый, неподкованный Мальчик столь галантный кавалер!

Володя Колобов разжигает для лошадей дымокуры от мошки и комарья, а мы идем спать, скормив на прощанье лошадям по бутерброду с солью. Мы часто ругаем наших коней, потому что любим и жалеем их. Им все-таки крепко достается. Как и нам. Мы понимаем их и разговариваем с ними. Мы знаем, когда они грустят,

мы видим, как они умеют смеяться. А сегодня Тайга (ей нездоровится) зевала. И слезы выступили у нее на глазах. Так зевать может только человек, когда он устал и ему очень хочется спать.

### 3. ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМНОЙ ШАР

*Маршрут пятый, в котором читатели знакомятся с простейшей географией, а герои загружают Джина непосильной работой*

Вся прелесть скитальческой жизни — постоянная новизна впечатлений, ожидание открытия. Открытия солнца, рассвета, заката, одинокого дерева на сопке, дождя, снега, дикого животного, ожидание встречи с неизвестным. Ежедневное... И даже если открытия не произошло — ты счастлив ожиданием.

— Вся прелесть нашей жизни как раз в том и заключается, — опустил меня на землю Жора, — что сегодня не знаешь, под какой куст сядешь завтра.

И тоже прав.

Территория нашей партии составляет 1/13 176 территории страны и 1/87 588 суши земного шара. Оказывается, земной шар не очень-то велик.

Наверное, бог создал Чукотку из отходов строительного материала. От пустыни досталась ров-

ная бесконечная тундра, от Кавказа — крутые горы, от джунглей Амазонки — комарье и гнус, излишек антарктических снегов и льдов он тоже забросил сюда. И сказал в последний день творенья: хватит! Предупредив, однако, что если маловато будет животного мира, всяких там козлов, баранов, медведей, то их с лихвой заменим мы, геологи.

Посмотреть со стороны — мы очень странные ребята. Зачем-то лазим по скалам, когда есть прямые дороги, просим по радию прислать сапоги и Шекспира, нет среди нас ни одного болельщика футбола. Все мы не прочь выпить, а в партии не найдешь даже ста граммов для медицинских целей.

Мы пока ничего не находим. И вообще, доказать, что в нашем районе ничего нет, по сути равно доказательству существования месторождения. Потому что, если мы не сделаем этого, со временем сюда опять придут геологи, опять будут заниматься тем же, опять будут затрачены средства и время.

Мы с Жорой вдвоем. С нами Бич.

Ты — и природа. Хорошо. Дышишь полной грудью и подчиняешься только суровой необходимости, здравому смыслу и Славе Кривоносову.

— Посмотри на сопку, — говорит Жора.

Сопка розовая. Это прокварцованные туфы, пропитанные окисями железа.

У нас чаевка. Банка тушенки, банка сгущенного молока, чай, галеты. Мы хорошо пообедали, у нас благодушное настроение.

— Вот если бы сейчас из расщелины вылез джин, — говорит Жора, — и предложил бы исполнить одно желание, одно блюдо, что бы ты выбрал?

Я долго не могу ничего придумать. Я хочу загрузить джина работой.

— Три бутылки красного сухого вина.

— Нет, — говорит Жора, — одно блюдо условие...

— Тогда одну канистру красного сухого вина!

— А я бы, — говорит Жора, — тарелку домашних пельменей. Эх! Я ведь могу пятьдесят пельменей съесть!

Пельмени — его любимое блюдо. Когда мы кончим поле и вернемся в Анадырь, жена Жоры Галя приготовит нам тысячу восемьсот девяносто семь пельменей и мы их все съедим.

Мы возвращаемся на подбазу, а там праздник. Сережа Рожков убил медведя. Рожков повстречался с ним в распадке носом к носу. Кто-то один должен был уступить дорогу. Сережа не мог.

Медведь кстати. Нам осточертели консервы. Каюр Володя Колобов, душевный заботливый человек и золотые руки, несмотря на поздний час, готовит из медвежатины особое блюдо. Мы тер-

пеливо ждем. Мы верим в талант Володи. Нет такого дела, которое бы он не умел.

Вечерние беседы у костра мы называем «семинарами». Здесь рассказываются все случаи из жизни своей и товарищей, здесь нет секретов, здесь откровенность не выглядит кощунственной, здесь постепенно друг о друге узнается все.

Мы небритые, чумазы, бородатые, вооруженные, а трубы радиометров как фаустпатроны. Мы изрядно поистрепались. Заплаты на коленях и на том месте, которое Б. Шоу при дамах не осмеливался называть вслух. Мы слушаем по «Спидоле» последние известия, все новости, что произошли в мире, пока мы лазили по скалам.

Немного грустно, потому что, когда слушаешь радио, особенно четко чувствуешь свою оторванность от мира. Каждый из нас часто грустит и в маршруте слушает небо, и когда где-то пролетает вертолет, очень хочется, чтобы он летел к нам, и мы очень часто смотрим в небо, потому что у каждого из нас есть жена или девочка, от которой ждешь письмо.

И если что-нибудь утром в небе гудело, то Володя Колобов, у которого был трудный рабочий день, уходит в ночь на своих лошадях за сорок километров, на базу, не дожидаясь указания Славы Кривоносова, уходит в надежде получить почту для ребят, потому что ему самому никто не пишет, и он знает, что это такое.



— Ну ладно, мастера безразмерного трепача, прекращайте ваши бдения, — говорит Слава Кривоносов. — По домам!

И первым ныряет в палатку. Но там еще долго горит свеча. Слава колдует над картой — завтра рабочий день. Славу видно за версту. Если он сядет на Мальчика, его ноги будут волочиться по земле. Знаменитые рисунки Дон-Кихот на Росинанте — это вариации на тему «Слава Кривоносов и наши лошади».

Мы все удивляемся работоспособности и выносливости нашего начальника. Встает он чуть свет, ложится поздно, весь день на ногах, и без того тощий и длинный, он еще более похудел, глаза ввалились — в чем только душа держится.

В маршруте Слава пьет ужасно черный чай.

— Вот жизнь... — вздыхает Жора, — никаких тебе радостей. Ни вина, ни девчонок, ни отдыха. Единственная радость — субинтрузию встретишь, да и то при ближайшем рассмотрении она оказывается не субинтрузией, а сухим медвежьим дерьмом!

Выпиваем еще по кружечке чаю — и в спальный мешок. Вода шумит у изголовья — моя палатка у реки. Медленно затухает костер.

— Спокойной ночи, ребята, — говорит в черноту Жора.

Я желаю Жоре спокойной ночи и загадываю себе сон. Раньше у меня это получалось.

#### 4. ПОЛЕНЫЧ

*Маршрут седьмой, в котором читателю станет ясно, что самая главная профессия в геологии — это завхоз*

Мы вспоминали, кто откуда, и выясняли, кто есть кто. И вдруг Жора сказал:

— Эх, Андреича нет. Вот завхоз был!

— Да, — подтвердил Кривоносов, — все начальники партий перед сезоном за него дрались, каждый хотел к себе перетянуть. Я, конечно, тоже...

— Подождите, ребята, — что-то вспомнил я. — Уж не Тимофей ли Андреич?

— Тимофей!

— Поленов?

— Ну да, Поленыч! А ты откуда знаешь?

— Ах, боже ж ты мой, да кто ж Поленыча-то не знает!..

Он и на старости лет не научился ругаться, и последним словом в его лексиконе было «лентяй». Все для него лентяи, когда он не в духе: и начальник экспедиции, и начальник партии, и мы, молодые лоботрясы, — три человека в одной комнате, три — в другой.

Был он стар, ворчлив, но ласков, и раньше жил на Сахалине. С острова Поленыч привез неистребимую страсть к корейской кухне и пато-

логическую ненависть к японскому императору. («Шли мы Сангарским проливом, на Камчатку шли, слева, значит, японский остров, справа тоже японский остров, стал я к левому борту помочиться в сторону японского императора, а капитан говорит, чтобы я отваливал к правому борту, там, значит, император, на другом острове, и стыдно мне стало за политическую малограмотность»). Держал он в чемодане японский календарь, а мне растолковывал:

— Бабы их голые мне вовсе без надобности, хоть как ты ни поверни. А ты посмотри, какие картины за их спиной — и горы, и море, красиво... Вот што корейцы, што японцы — все одно, народ хороший, тихий и всегда в труде.

Но императора он ненавидел люто. Потому что не может трудовой человек не ненавидеть императора.

Появился Поленых в поселке с бочонком корейской капусты — чимши. Ел он ее ко всякому блюду и нас приохотил. Страшнее яства я не пробовал.

Вряд ли кто без привычки мог выдержать объединенный аромат лука, перца, горчицы, черемши, чеснока, горького и сладкого разнотравья, кислых соусов, выдержанных и забродивших, от которых сводило челюсти, как после восьмичасового непрерывного смеха.

Поленых был завхозом полевой партии, в ко-

торой начинал свою геологическую биографию Сережа Рожков. Великий Клан геологических завхозов — особая республика. Любое начальство стоит перед ним с протянутой рукой. А о нас то и говорить нечего, были мы в долгу и в зависимости и всегда заискивали перед ним, даже не чувствуя иногда вины, просто так, на всякий случай, ведь все равно когда-нибудь проштрафишься или будешь чего-нибудь просить. А когда просишь у Поленыха, у тебя становится такой дурацкий вид, что тебе невозможно не отказать. О его скупердяйстве ходили легенды, но он не обижался.

— Эх вы, лентяи, — ворчал Поленых.

— Поленых, — потупив глаза, ковырял носком ботинка землю Серега Рожков. — Поленых, дай веревки, растяжки на палатке совсем замечать надо, начальник ругает.

— На твоей, что ль, палатке? Когда ж ты их успел растрепать?

— Дак сам знаешь, тонули мы, да и дожди были, размокли, да и веревки старые... куда уж, второй сезон... А у тебя целая бухта, совсем новая, и капрон, не жиль!

— Ты, сиз-голубь, на бухту глаза закрой, — отрезал Поленых. — Ты вот лучше не тони.

И уходил. И приносил Сереге веревки, связанные из клочков и обрезков, правда, крепко связанные морскими узлами.

— Вот, бери, сиз-голубь. Добрые веревки, как новые. Послужат, послужат...

— Дак тут ведь только узлы новые!

— Коли б старые были, так и не давал бы... Иди. Лучше дров заготовь, пока погода.

— Дров и так на весь год, куда уж!

— Ну палатку зашей. Ведь есть дырья? — сочувственно спрашивал Поленьч. — Ну, откройся, есть дырья?

Вздыхает Серега. Очки грустно висят у него на носу. И уходит он штопать палатку.

А Поленьч все ворчит:

— Лентяй! Им бы все транзистор слушать, хали с галей бы плясать!

После месяца бродяжничанья мы вернулись на базу отдохнуть дня три, привести себя в порядок, почистить перышки, как говорил Поленьч.

Начальник с Поленьчем подсчитывали продукты. Один мешок с мукой оказался подмоченным керосином. Поленьч недоглядел, и кто-то положил мешок рядом с канистрой.

— Вот что, — сказал начальник, — муку выбрось, ну, а стоимость, как обычно, распишешь на всех.

— Ладно.

Но Поленьч ослушался, жаль ему было казенного добра, и долго еще нам в каждой приправе, в каждом блюде, изготовленным заботли-

вым завхозом, чудился неистребимый привкус керосина, он чудился нам даже тогда, когда вся мука, скормленная нам, кончилась, хотя Поленьч каялся и говорил, что положил ту порченную муку только один раз, и то по недосмотру, сиз-голуби, по недосмотру.

— А перец? Перец тоже по недосмотру? — мелко сводил счеты Серега.

Поленьч менялся в лице. Он не любил, когда ему напоминали про перец. Он не любил прошлых историй. А она была как три капли воды похожа на эту. На базе оказался излишек перца, и Поленьч, подготавливая нас, три дня рассказывал о пользе восточной кухни и потом совал перец в каждое ество, пока не переусердствовал и вместо борща (кастрюли были все одинаковы) сыпанул полпакета в компот.

Почистив перышки, мы ушли в маршруты.

Потянулись бесконечные дожди.

Когда устанавливалась затяжная непогода, Поленьч нас баловал. Раз в два-три дня он присылал с каюром пироги. Он делал их с ягодами, с грибами, с рыбой, с консервированными компотами, с мясом, с сухофруктами, с сухой картошкой, присылал сладкие булочки — и обязательно баночку чимши. Начальнику в записке писал: «Ты чимшу поешь, чимшу, полегчает». Он знал, что в непогоду у нас портилось настроение. А пироги он считал самым верным средством от всех

душевных невзгод и любил пироги в любом виде, и сам их пек отменно.

— Я — это што, вот баба моя пекет пироги — вот это пироги, вовек не забудешь!

— Кого, бабу? — спрашивал Серега.

Поленьч вздыхал:

— ...и бабу, знамо дело.

— Вот у меня хорошая баба, пироги лучше всех пекет. Поем зимой пирогов, а летом в поле надо. Ежели человек без природы — скушный он человек. Значит, в ем основного, вот как бы стержню, не хватает. А по-научному — центр тяжести. В каждом человеке он должен быть — центр тяжести. Ежели этого центру нет — жизнь пойдет наперекосик, ни себе радости, ни людям пользы.

Черная меланхолия неслышно съедала безмятежную душу Сереги Рожкова. Прислушивался он к себе и никак не находил этого самого центра тяжести, и стержня не находил, как ни старался.

Самокритичен был он в душе, потому и ошибался в оценке собственной личности.

И еще думал о том, что будет делать, когда поле кончится.

Любое поле всегда начинается с разговоров о том, что вот когда оно ко-о-нчит-ся... Так вот, когда оно кончится, решил Серега, начнет он новую жизнь.

— Что ты грустный, как ипонец? — спросил Поленьч.

— Сам ты японец, — огрызнулся Серега.

— О жизни небось думаешь? — не унимался старик.

Молчит Серега. Думает.

— Ты не думай, сиз-голубь, жизнь у тебя правильная...

— Чего ж правильная? Где вдоль надо — поперек выходит.

— А ты детей рожай. Тебе надобно детей иметь. И чтоб баба была хорошая. Сколь тебе? Тридцать?

— Ну еще не скоро...

— Неважно, все равно пора.

Серега встал и медленно пошел в свою палатку, к своим одиноким мыслям, в тепло казенного кукуля.

Утром все ушли в маршрут, на базе остался только Поленьч и его помощник Серега.

Рожков прискакал к нам ночью.

— Что случилось? — устало спросил начальник.

— Дак с Поленьчем, — махнул рукой Серега.

Начальник с Серегой оседлали лошадей и ушли на базу. Поленьч ответ держал, стоя смирно, но левую руку опустить по швам не мог. Он прижимал ее к груди и смотрел горестно.

— Да что ты навтыяжку-то, что я, японский

император? — взорвался начальник. — Чай-то хоть есть?

За чаем все выяснилось.

Когда ребята ушли, Поленич послал Серегу за диким луком, а сам решил поохотиться и сделать пироги с дичью и маринованным луком. Этого он еще не делал.

Он разламывал в палатке двустволку, она выстрелила, повредила ему руку и разнесла верх палатки. Разнесла так, что чини не чини, а звезды ночью все равно видно будет.

Поленич растерялся. Он кинулся в палатку начальника, припал здоровой рукой к рации, начал крутить все ее ручки и чуть не заплакал. С рацией он обращаться не умел.

— Ах ты, господи, как же машину эту завести? Ах ты, господи!

На выстрел прибежал Рожков. Он завязал ему руку, успокоил его, и стало старику стыдно.

— Палатку жалко, — причитал он. — Эх, палатку жалко.

— Ну? — спросил строго начальник, и в глазах его пряталась усталость.

— Палатку жалко, — признался Поленич.

— А где сейчас он? — спросил Жора Старцев.

— В отпуске. Баба победила. Увезла-таки, — сказал Слава Кривоносов. — Ест он сейчас пироги. Знатные, я вам скажу, пироги...

## 5. НОЧНЫЕ ВЕРШИНЫ

*Маршрут одиннадцатый, в котором читатель может проверить справедливость умозаключений японского парикмахера*

Бич — доброе и глупое животное. Мы привезли его из Анадыря, потому что он привязался к нам и потому что с собакой всегда лучше. Добить себе пропитание на природе, в условиях жесточайшей борьбы за существование, он не может. Он воспитан на подачках, весь его опыт — это драки с себе подобными на анадырских помойках. Сейчас на вольной природе он вспоминает Анадырь, как свое позорное прошлое. Но без нас ему не обойтись. Бича обманывают евражки и полевки, куропатки и кулики. Он еще ничего не добыл и возвращается с охоты, понурив голову. В начале самого первого маршрута, у самой базы, я наступил на поваленное дерево и заметил, что придавил к земле куропатку. Бич даже ее не заметил, он просто перепрыгнул через нее. У Бича утрачены все охотничьи инстинкты. Я поднял куропатку. Она со страху закрыла глаза. Студент Сережа Певзнер предложил оторвать куропатке голову. Мы с Жорой накричали на него.

— Зачем? Это же бессмысленно. Еды полно — зачем убивать птицу?

Я отпустил куропатку, а Слава Кривоносов до рогай вразумлял Певзнера:

— Вот ты бы зазря убил птицу. А она сидела на гнезде. Ты заметил, сколько там яиц? Нет, конечно. А там их было восемь. Вылупятся и подрастут восемь куропачей. И осенью, когда с пищей, возможно, будет скучно, эти восемь нам очень даже пригодятся. Понял?

Мы вспомнили эту историю сейчас, когда Бич наткнулся на гнездо. Куропатка вспорхнула и села прямо у него под носом. Он бросился к ней — она отлетела еще на полметра. Озверевший Бич гоняется за птицей, а она летит в полуметре от его носа, уводит от гнезда. Возвращается Бич ни с чем. Потом он встречает кулика. Кулик уводит от гнезда, волоча крыло, имитируя увечье. Потом резко взлетает вверх, когда собака рядом, падает невдалеке — снова все повторяется. Бич опять остается ни с чем. Он возвращается к нам, трется о ноги, скулит. Ему горько и обидно.

Мы разделяемся. Кривоносов и Певзнер уходят на соседний водораздел. С ними — Бич.

А у нас вон те вершины. Мы повздыхали, глядя на них, и потопали. Но повздыхали — это так, на всякий случай, чтобы не сглазить. А честно говоря, к вершинам мы привыкли и лазим по горам как заправские шерпы. Хотя вначале было трудно.

Сегодня — самая высокая отметка в нашем районе. На вершине дремлют туманы, солнце

еще не разогнало их. Мы поднимаемся уже час. Жора описывает породы, изучает, из чего составлена эта гора, а я маркирую образцы и хожу с прибором. Зафиксировав показания прибора, беру с этого места образец, уже расколотый и занесенный в пикетажку Жорой, наклеиваю на камень кусочек лейкопластыря — теперь только остается его лизнуть и проставить химическим карандашом номер. Я прикидываю, что если за весь сезон у нас будет пятьсот точек и с каждой точки мы возьмем по десять образцов, то выйдет, что в итоге я попробовал на вкус пять тысяч камней. Веселенькое дело! Жору забавляет такая статистика. И мы лезем выше.

Вчера на подбазе мы с Жорой совершили «диверсию». Я пробрался к мешку с камнями, отобранными для отправки на базу, развязал его, достал заблаговременно припасенный кусок сахара, величиной с полкулака, наклеил на него лейкопластырь, проставил номер 731/2, завернул его в бумагу и бросил в мешок. Образцы от 500 до 1000 — это группа Кривоносов — Певзнер. В конце поля, когда разбираются все образцы, будет повод повеселиться.

Мы лезем выше. Я убеждаюсь с грустью, что чаевать нам скоро не придется, на вершине ни кустика, значит и ни капли воды. Слава Кривоносов был предусмотрительней, он к рюкзаку привязал охапку сушняка.

Осыпь из голых острых камней. Ботинки — вдрызг. Комар умудрился укусить даже в подошву.

Камни катятся вниз.

Мы лезем вверх.

Видна только вершина и небо.

Вершина и небо. Она кажется близкой — но до нее ой-ой-ой! И чем выше лезешь, тем дальше она отодвигается.

Мы отыскиваем баранью тропу. Идти легче. Но тропа вскоре теряется, а нам надо все выше и выше.

Жарко. Грызут комары. Они прямо озверели. Они тут громадные, толстые, гудят, как вертолеты. Лучшие в мире комары. С правом подбора посадочной площадки. Интересно, кого жрут комары, когда нас в тундре нет?

А вершина все там же — уперлась в небо. Мы достигнем ее, когда будет виден горизонт, лежащий за ней. Горизонт на севере, за вершиной, он холодный, прозрачный, четкий. Но его надо увидеть. А увидеть его можно только тогда, когда вершина будет под ногами, вот под этими рваными ботинками.

Отдыхаем, смотрим вниз. Панорама долины. Ручей. Какой-то черный комок катается по галечной косе. Всматриваемся. Ба! Да это же медведь! Его грызет мошка, он катается по косе, бьет себя лапами, потом в отчаянье сует морду

в воду, фыркает, отдувается, рычит, бедняга. Убегает в распадок. Лезет на перевал, оттуда на вершину. Там, наверное, ветер, там он спасается от гнуса.

Бежит медведь быстро и ловко. Красивое зрелище — зверь на природе. Все-таки несправедливое это учреждение — зоопарк.

В прошлом году в соседней партии мошка загрызла до смерти двух молодых собак и жеребенка.

Мы на вершине. Все! Можно закурить. Сбрасываем рюкзаки, съедаем по плитке шоколада, курим. Все другие вершины, которые тоже казались высокими, где-то внизу.

— Солнце высоко, палатки далеко, — melancholically замечает Жора Старцев.

Намек понят, и мы съедаем еще по плитке. Теперь нам весь день идти по водоразделу, а в конце пути лезть на сопку, но уже поменьше этой.

Я беру отсюда на память кусочек камня. Камень с самой высокой вершины. Моей коллекции камней положил начало кусочек замшелого гранита с мыса Дежнева. Это самый северо-восточный камень страны. Северо-восточней этого камня тверди больше нет. Я лазил за ним зимой, надев кошки. Теперь же у меня есть камень с вершины. Хотелось бы взять еще кусочек неба, но небо всегда над головой, а вершины не будет. И я знаю, что там, в родном городе, где живут

близкие, где музыка и воскресенья, где вино, фрукты — продукты, дары навигации, где совсем другая жизнь, — мы будем грустить о наших вершинах.

...В километре от нас на склоне виден снежник. И прилепившаяся лиственница. Значит, будет костер и чай! Чтобы не терять времени, Жора предлагает мне сразу идти туда, пока он занимается образцами и записями, и готовить чаевку. Я ухожу...

...Снежник большой. Узким языком он спускается к долине, к каменному развалу. Разжигаю костер и с котелком бегу к снежнику. Он покрыт тонкой ледяной коркой. Долблю ее ножом, но снег грязный, лезу дальше, чтобы найти чистый островок, и вдруг качусь вниз по ледяному насту. Успеваю перевернуться на живот, воткнуть нож и таким образом задержаться. Осторожно подтягиваюсь на ноже, делаю носком ботинка углубление, опору, снова подтягиваюсь на ноже и выхожу за пределы снежника, подниматься к костру — метров пятьдесят.

Приходит Жора, я ему рассказываю про чай, отвлекаю внимание, но по следу на снежнике он понимает все и напоминает о том, что на инструкции по технике безопасности расписывались все. Обещаю, что больше этого не будет.

...Густые облака украли солнце, и ночь опустилась сразу, как на юге. В долинах холод. Мы сно-

ва забираемся в горы, там тепло, там удивительный воздух, ничего не хочется, только плавать в нем, только дышать им.

Спят ночные вершины. Завтра у них рабочий день. Завтра их покой нарушат геологи. Вернее, это будет не завтра, а уже сегодня, потому что возвращаемся под утро. У костра — высокая одинокая фигура. Это Слава Кривоносов. Наш начальник — самый высокий в экспедиции, два метра. На одной ноге у него ботинок сорок четвертого размера, на другой — сорок пятого. Случилось так, что парной обуви в ящике для него не оказалось.

Строгий начальник ждет нас и варит нам в банке из-под сухого молока роскошный вермишелевый суп. У всех нас хорошее настроение. Слава и Жора рады, что все их теоретические гипотезы подтвердились, и гранитоиды или могучие, и зона тектонического нарушения была хорошая, и контакт найден отличный, и слышен был как будто вертолет, возможно, к нам на базу.

Если бы мне предложили составить титулованную грамоту для награждения званием «Рыцарь Геологии», я бы начал со Славы Кривоносова, Жоры Старцева, Сережи Рожкова и Володи Гусева, я бы начал с ребят нашей партии.

Володя Гусев самый старший среди нас. Он руководит отрядом промывальщиков. И когда



видишь долго склоненный над картой серебристый ежик его волос, думаешь о том, что пути, пройденные им только в тайге и тундре, равны всем твоим жизненным дорогам.

Спать мы сегодня будем мало, потому что день очень хорош. Перед сном слушаем «Спидолу», последние известия. Приятный концерт: «Луи Армстронг и Элла Фицджеральд» — как награда за труды. Давно не слушали музыки.

Узнаем, что наш сосед, Алик Преловский, награжден правительством. Надо бы дать телеграмму.

Меняются диапазоны — меняются новости.

Узнаем, что Люси Джонсон приняла на днях католичество и будет венчаться в церкви Непорочного Зачатия. Узнаем о массовом наплыве туристов в горы Тянь-Шаня. Узнаем, что первый универмаг в Париже был открыт в 1852 году, а также заявление университетского парикмахера из Нийгаты о том, что если у вас завиток на затылке против часовой стрелки, то вы замкнуты, аккуратны, упрямы, а почерк у вас угловатый с нажимом. А если у вас две макушки, то вы задумчивы и с нерешительным характером.

Мы лихорадочно ощупываем затылки друг друга. Задумчивых, с нерешительным характером среди нас нет.

Бича эти проблемы не волнуют. Он на своем месте — между нашими спальными мешками.

— Ах ты проститутка, — нежно говорит ему Жора Старцев, — в маршрут так с начальником бежал, а спать к нам. А ну, подвинься!

Жора переворачивает Бича на другой бок, сует ему под нос кусок сахара, забирается в мешок и закуривает сигарету.

Мы долго не можем заснуть. Когда очень устала, заснуть сразу трудно.

Бич спит беспокойно, похрапывает, дергается. Ему снится куропатка, которую он так и не поймал.

*Маршрут семнадцатый, который наводит читателя на мысли о необходимости овладения высшей школой верховой езды и дает рецепт, как заработать две бутылки коньяку*

Здесь, на берегу Пеледона, самая крупная в мире голубика. Так сказал каюр промывальщиков Афанасьич. А ему мы верим.

Здесь, в местах почти заповедных, кроме голубики растет шиповник и красная смородина. В остальном так же, как и всюду на Чукотке.

Солнце прячется, льет проливной дождь, маршруты отменяются. Мы каждый день возвращаемся из маршрутов мокрыми, как рыбы. Сегодня мы не попадемся на удочку. Вот кончится потоп, и мы будем искать в обнажениях вокруг подбазы фауну и флору.

Это очень увлекательное занятие — лазить по каменным осыпям и искать окаменевшие части деревьев и трав, произраставших тут еще до ноевских времен, искать моллюски и всякие разные ракушки, которым миллионы и миллионы лет. Появляется спортивный азарт, тем более, что без фауны лучше с поля не возвращаться: это очень отразится на отчете.

Чтобы поощрить наши старания и подогреть энтузиазм, Слава Кривоносов напоминает об обычае, который существует во всех геологических партиях всех времен и народов, — за каждую фауну начальник партии обязан выставить нашедшему бутылку коньяку.

К вечеру у меня в руках появляется ракушка. Я несу ее, затаив дыхание. Я несу ее, как несут цветы любимой, стеснительно и гордо. Я надеюсь на благосклонность начальника.

Начальник выливает на меня ушат холодной воды:

— А попочка цела?

Оказывается, возраст ракушки невозможно определить, если будет отбито основание завитка, основание спирали, то, что так нежно определил начальник.

Я растерянно отдаю ему мою находку и напряженно жду.

— Цела! — радостно вздыхает он. — Поздравляю!

Начальник заворачивает ее в вату, затем в бумагу, затем в материю, обкладывает травой и после этого аккуратно кладет в мешочек, а мешочек — в деревянный ящик.

Я снова ухожу на обнажения. К вечеру начальник должен мне еще бутылку коньяку.

...Утром приходит каюр промывальщиков Афанасьич со свежим хлебом. Сегодня — день большой камералки. Надо подготовить к отправке все образцы, в наших тайниках по дороге забрать припрятанные камни, отвезти на базу и вернуться со всеми лошадьми.

Студент Сережа Певзнер хочет помочь каюру. Он говорит, что у него есть кавалерийский стаж, что он чуть ли не гарцевал в цирке, и, решив доказать свое умение, заигрывает с Венерой.

Я вспоминаю первое знакомство с нашими лошадьми.

— Антилихенты! — укоризненно бросил Афанасьич, твердо зная, что лошадей на столь близком расстоянии некоторые из нас видели впервые.

— Начальник! — обратился я к Кривоносову, поскольку самолюбие мое было ущемлено выпадом Афанасьича. — Братья ковбои! Я хочу укротить этого арабского скакуна!

Меня торжественно подвели к маленькому смиренному старику Мальчику. Двое держали лошадь, двое меня полсаживали. Наконец я был

взгроможден на этого дромадера, крепко сел на его худой и острый позвоночник. Афанасьич стукнул коня, и Мальчик сразу почувствовал во мне дилетанта. Что было дальше — лучше прочитать у Марка Твена «Как я учился кататься на велосипеде».

— Это называется отрыв теории от практики, — подвел научную базу Жора Старцев под мои кавалерийские опыты.

Я считал синяки и потирал ушибы.

— Первый конь — комом, — смеялся Кривосов.

...Но мой опыт не пошел Певзнеру впрок. И вот теперь Кривосов перевязывал его и строго внушал, что лошадь — это не такси, а тундра — не Арбат, и к лошади подход нужен индивидуальный, и желательно не со стороны заднего копыта.

Певзнер сидел у костра, схватившись за перевязанную голову, и причитал:

— Что бы сказала моя бабушка? Что бы сказала моя мама? Боже, зачем еврея дикие мустанги?

Он схватил камень, швырнул в Венеру и, застояв, полпелся в палатку.

...Володя Колобов жарит хариусов. Их наловил Сережа Рожков, чемпион по добыче медведей и рыбы.

Володя Гусев, старший в отряде промываль-

щиков, сооружает коптильню. За его плечами двадцать лет поля, и он из ничего может сделать все. У него седые волосы и молодые глаза.

Чтобы Жора не дремал после хорошего обеда, Колобов просит его следить за сковородкой.

За хариусами, конечно, никто не следит, пока из сковороды не повалил дым.

— Горелый хариус полезен, — оправдывается Жора. — В нем больше витаминов.

Несколько рыб на тарелке Володя несет в палатку нашему инвалиду, лихому кавалеристу, Сереже Певзнеру.

Мы с Жорой идем эталонировать прибор.

Володя возвращается и из своих разорванных и латаных-перелатанных брюк делает шорты. Он отрезает ножом брючины, надевает «шорты» и ходит по галечной косе фертотом, произнося монолог во славу снабженцев, который невозможно привести, поскольку лексику Володя постигал не из словаря Даля.

## 7. ПЕРВЫЙ СНЕГ

*Маршрут девятнадцатый, посвященный красивому камню обсидиану*

Слава вылез из палатки, посмотрел задумчиво на тучи и на снег, пнул подвернувшегося под ногу Бича.

Студент-практикант Сережа Певзнер тоскливо ел вчерашнюю кашу. Ел он не потому, что хотел есть, а потому, что больше ничего не хотел делать.

Река подошла к самым палаткам. Я пошел разжигать костер на новом месте.

...Всю ночь шел снег вперемежку с дождем, река вздулась и унесла все масло, геологический молоток и смыла кострище. И мы сидим весь день в палатке, спасаемся от дождя и холода, очередной маршрут отменен, будет камералка — обработка материалов.

Нам холодно. Холодно на улице, холодно в палатках. У костра сидеть нет смысла: идет противный снег, все кругом мокро. Тогда мы мастерим печь по-таежному. Для этого надо только найти подходящий валун. Наконец валун найден. Слава гарантирует, что он не расколется. Валун кидаем в огонь, доставляем дров. Потом, когда валун будет так раскален, что к нему невозможно притронуться, мы с помощью палок и трыпок закатим его в палатку.

Мы все набиваемся в палатку, несем туда же чайник и продукты. От валуна идет тепло, как от печки. Нам становится жарко. Кусочки мокрого хлеба кладем на валун, и хлеб обжаривается. Жить можно. В который раз убеждаешься, что человек может жить везде, главное, не теряться и не тосковать. По мнению оптимиста

Кривоносова, все несчастья от меланхолии. В тепле мы предаемся несбыточным мечтам.

Неплохо бы получить в свое распоряжение вертолет и создать летающий отряд шлихового опробования. Сколько бы выиграли дней, сколько бы сэкономили сил и насколько эффективней шли бы поиски!

Неплохо бы оценивать начальству деятельность партии по конкретным, самым важным результатам — доказана или не доказана перспективность или бесперспективность района на золото, поскольку золото для страны — это все.

И неплохо бы сейчас попасть просто на нашу базу, в нашу баню... Баню мы на базе строили сами из лиственницы. Она получилась отличной. И прибили мы табличку на двух языках — на русском и на латыни. Какая же баня без таблички? Она гласила: «Пеледонская уездная баня им. В. М. Кривоносова». Имя бане дали, во-первых, в порядке наглого, ничем не прикрытого подхалимажа, а, во-вторых, за особые заслуги нашего начальника, который в неимоверной жары пересидел всех своих подчиненных, лихо дубасил себя веником, а в заключение прямо с банного крыльца бросился в ледяные воды Пеледона — подвиг, который в начале сезона никому из нас свершить было не под силу.

После ужина при помощи сложного приспособления из проволоки, веревки, лейкопластыря

и смолы я мастерю ботинки еще на один маршрут. Мы клеймим снабженческие организации и обувные фабрики на чем свет стоит. Я чувствую, что мое изделие после первого километра разлетится в прах, и злюсь.

Жора квалифицирует мое состояние как маниакально-депрессивный психоз, отягощенный мечтой о светлом будущем... Светлое будущее видится мне в образе непромокаемых сапог сорок первого размера и пачки сигарет с фильтром. В конце концов я закинул ботинки и натянул кеды.

Жора импровизирует:

— Но нет ужасней моветона.

Сезон бродит у Пеледона.

Два дня назад он, как обычно, нес образцы в руке до следующей точки, — полная рука образцов, он прижимал их к груди. Во время перехода через речку он поскользнулся и выронил камни, их тут же унесло течением. Нам пришлось возвращаться к предыдущей точке и все начинать сначала.

А первый снег уже тает, дождь съедает его, остаются только шапки на острых вершинах. Слава дает команду собирать щавель, утром будем варить борщ.

Мы разбираем образцы. В моем рюкзаке удивительные камни. О них я мечтал еще в Анадыре. Мой сосед по квартире — геолог, он болен

обсидианом, он хочет найти громадные коренные выходы этого камня. Сейчас он в другой партии, но если будет связь, я дам ему телеграмму, ведь я тоже заболел этим камнем.

Я принес полный рюкзак черных камней и высыпал их перед Славой. Он покачал головой и засмеялся:

— Сбылась вековая мечта человечества!

Если вы никогда не видели обсидиана, разбейте бутылку шампанского и посмотрите на скол. Примерно так, только чернее, он и выглядит, ведь обсидиан — тоже стекло, только вулканическое. При сильном нагреве он увеличивается в объеме в десять-одиннадцать раз, и получается легкий и прочный материал, идущий на нужды строительства.

Я маркирую образцы, спрашиваю у Жоры, есть ли надежда на месторождение. Ему не хочется меня огорчать, но он говорит:

— Вряд ли...

## 8. АБСТРАКЦИЯ ДЛЯ ДВУХ САКСОФОНОВ

*Маршрут двадцать третий, в котором автор похвально своей дружбой с привидениями*

Такое небо я уже видел однажды. Это было на берегу Ледовитого океана. Синее-синее небо, белые-белые облака, синее-синее море, белые-

белые льды. Или небо отражается в океане, или океан отражается в небе. Мы вышли на вельботе — небо под ногами, океан над головой. Мы шли к дальним черным точкам — моржам.

Сейчас Слава Кривоносов объясняет маршрут, показывает на горизонт.

Маршрут двухдневный, без подбазы, берем с собой одну палатку на четверых, запас еды, почевать будем без спальных мешков, уточняем координаты, делим груз и расходимся, договорившись о встрече с группой Кривоносов — Певзнер на ручье Горном, там, почти у горизонта, где белые облака лежат на груди у кекуров — молчаливых каменных идолов.

Уходим легко, с хорошим настроением. Уходим, чтобы сюда уже не вернуться. И оставленная стоянка — уже за спиной, она просто стала местом, откуда мы пошли дальше.

...Геология — абстрактная наука и очень конкретный труд. Парни держат в руках камень и имеют полное представление о глубинных земных процессах, происходивших миллионы столетий назад, вот до этой чаевки и до этого костра. И конкретное проявление абстрактных представлений и абстрактного мышления — это наш труд и то, что будет потом в результате его.

Нас в тундре двое — каждый солирует на своих инструментах, но тема одна — поле. И мы идем молча, каждый со своими мыслями.

Неплохо бы к концу маршрута прийти сухим, значит, не надо спешить, прийти сухим, не вспоминая, ведь спальных мешков не будет и нельзя вообще переодеться; и еще о том, почему иногда бывает так, что правда теряется в стланнике, а кривда выходит на проспект, и о том, что все наше богатство, весь капитал — это чувство юмора, с ним приходишь на Север, с ним остаешься, или уезжаешь, или умираешь тут; и смешно сказал Слава Кривоносов, что мы ищем то, чего не потеряли, такая уж она у нас «мама-двухсотка» — и вообще никто никогда не узнает, о чем думает человек, когда он один в тундре, когда кругом такая тишина, как будто ничего не происходит.

— Привет! — радостно кричит Певзнер.

— Добрый вечер! — вежливо отвечает Жора.

Мы одновременно спустились в долину, обе пары, ищем хорошее место для палатки. Все рады, что вышли в намеченную точку синхронно, не будем тратить время на ожидание. А кекуры по-прежнему далеко, горизонт отступил, и небо из синего переходит в черное, облаков нет, только светлый закатный горизонт, значит, будет завтра отличный день, и мы решаем удлинить завтрашний маршрут, уж больно хорошо сегодня работалось. Я быстро разжигаю костер, Жора открывает банки, Певзнер накрывает «стол», а Слава Кривоносов готовит приправу из сухого

лука и масла. Это мероприятие он никому не доверяет, потому что на большом огне можно за просто пережарить лук, и только Слава умеет жарить лук в банке из-под сгущенного молока.

Мы рубим стланик, готовим место, потом растягиваем палатку. Она маленькая, но мы умещаемся в ней вчетвером, впритирку, так теплее. И говорим о всякой чепухе, и верим, что завтрашний день будет удачным.

После завтрака замечаем, что продуктов осталось очень мало, на обеденную чаевку и чуть-чуть на ужин, но рюкзаки не полегчали, потому что набралось достаточно образцов.

Маршрут удлинен, и мы не придем на подбазу, у каюра на этот счет составлены инструкции.

— Будем ночевать вот здесь. — И Слава помещает на карте, а нам дает аэрофотоснимки этого района. На карте маленький крестик. — Тут какое-то захоронение. Встретимся у креста.

— Пока!

— Пока!

И мы расходимся.

Жора проверяет револьвер и вносит деловое предложение.

В конце маршрута необходимо зайти за рамку, то есть выйти за пределы карты, в чужой район, чтобы сделать правильную геологическую

стыковку района и соседнего, где сейчас никого нет, но там работала в прошлом году другая экспедиция. И, чтобы не терять времени, он отдает мне свой рюкзак, я ему свой прибор, и с двумя рюкзаками я иду по долине до тех пор, пока не найду эту могилу. Там надо мне разжечь костер, потому что скоро наступит ночь и костры будут ориентирами и для Жоры, и для Славы с Сережей.

Со мной бежит Бич, так что мне не скучно.

Идти немного, километров пять, но когда прихожу, уже звезды заселили небо.

...Высокая надпойменная терраса, широкий шумливый ручей, на террасе тундра кочковатая, и единственное сухое место — это захоронение. Крест русский, могила древняя. Сверху она разрыта, видны доски. Наверное, тут поработали песцы или медведь.

На хорошем расстоянии друг от друга разжигаю три сигнальных костра, потом спускаюсь к реке и на галечной косе сооружаю громадный, метров пять в длину, костер, чтобы прогреть гальку. Когда придут ребята, мы разбросаем угли, на место кострища натаскаем веток, поставим палатку и нам не будет страшен никакой холод, теплая галька будет греть нас, и увидим мы одинаковые сны о том, что лежим на палатках, на деревенской печке, а бабушка гремит ухватами, сочиняя нам топленое молоко.

Я сижу на могиле, это самое сухое место, сижу, опершись спиной на крест, от бликов костров мечутся тени, могила дореволюционная, и я знаю, что здесь должны быть привидения.

Тишина и одиночество. Бич лежит у костра и вздрагивает. Он не хочет идти ко мне, а я к нему.

Часто падают звезды, и мне надоедает загадывать желания.

Я сижу, боясь пошевелиться.

Чу... Что-то скребется. Наверное, мышь-полевка. Нет, вот раздвигаются доски, что-то белеет в могиле, и вдруг медленно вырастает привидение. Привидение садится на край могилы, подоткнув под себя белый саван. Я сжимаюсь и стараюсь вдавиться в крест, чтобы меня не было видно. Привидение смотрит на меня и молчит. У меня зуб на зуб не попадает. Мы молчим. И смотрим друг на друга.

Тогда оно пересаживается ко мне ближе. Я вижу пронзительные глазницы и белые зубы черепа.

— Ну, как у вас с планом? — спросило привидение.

— Выполняем... — тихо доложил я.

— А как работа, не пыльная?

— В нашей стране труд младшего техника-геолога окружен всеобщим почетом и уважением, — доложил я.

— Молодец... А как полевые, платят?

— Платят... Еще как!

Привидение задумалось.

— Ну, а с кормежкой ничего?

— Нормально... три раза в день, как в санатории.

— Гм... а я вот, видишь, совсем отощал...

Привидение вздохнуло, проскрипело скелетом и протянуло мне руку. Я обрадовался, что теперь с ним «на ты и за руку».

— Ну, бывай! — сказала привидение и похлопало меня по плечу. Я открыл глаза.

— Ну и ну! — смеялся Жора. — Заснуть на могиле! Что снилось хоть?

— Привидения... я с ними «на ты и за руку».

— Идем чай пить, мы тебя не будили, уж больно хорошо спал.

...Потом мы раскидали угли, натаскали на гальку веток и поставили палатку. В палатке жарко. Снимаем обувь, затем куртки, затем свитера. Все равно жарко.

От прелых веток в палатке аромат. Пахнут ветками, рекой, ветром. Пахнут тишиной ночи и землей. Кажется, будто в изголовье у нас земной шар.

Солнце просыпается раньше всех, и мы вылезаем из палатки, когда уже согрета земля. Редкий денек — мошкара и комары еще не вышли на работу, и мы нежимся в лучах утреннего солнца, загораем.



На завтрак — пустой чай и немного сахара, вот и все. Но мы знаем, что в конце дня наш маршрут и дороги каюра Володи должны пересечься, и тогда у нас будет все.

Мы забываем, что последние два дня работали охотенело, вдохновенно, до одури, прошли много, а вода — она и ночью вода, и после чая аппетит разыгрывается зверский.

Вдруг Слава Кривонос тихо подзывает Бича, берет его на руки и сдавливая своей могучей рукой Бичеву челюсть, чтобы он не лаял, и кивает на реку.

Мы смотрим и замираем. Недалеко от палатки спокойно пьет воду олень, небольшой изящный дикий олень.

Слава думает, как бы удержать Бича, чтобы он не вырвался и не спугнул животное.

Жора Старцев лихорадочно подсчитывает, сколько из этого оленя получится шашлыков, и уже мысленно отрезает себе часть грудинки (лучшую часть).

Он в нетерпении. Он ползет по-пластунски к палатке и думает об оставленном там револьвере.

Я смотрю на все широко открытыми глазами, боюсь пошевелиться и думаю, чем же всё кончится.

Жора выползает из палатки и ползет по гальке к оленю. Я представляю, каково ему голому

тащиться по камням. Наконец метрах в пятидесяти он замирает, целится, и щелкает выстрел. Пуля падает рядом с оленем, тот даже не поворачивает головы.

Бич видит оленя и отчаянно вырывается из железных объятий Кривоносова.

Жора стреляет еще раз.

Пуля падает рядом, отскакивает от камня и жужжит. Олень вскидывает голову, смотрит на нас, потом снова наклоняется к воде и пьет.

Жора снова стреляет, две пули подряд.

Олень грациозно подпрыгивает вверх, Бич вырывается, лает и бросается к нему.

Олень перепрыгивает через реку и несется по тундре, Бич стремглав, сломя голову несется за ним.

Жора в сердцах стреляет в Бича, но не попадает.

Все, не видать нам сегодня шашлыков и бифштексов!

Зря мы плотоядно улыбались, боясь пошевелиться!

Зря Жора мысленно отрезывал часть грудинки (лучшую часть)!

Всем нам смешно и обидно. Жора все сваливает на Бича, клянет его и обещает оторвать ему голову, когда тот вернется.

Бич возвращается, тяжело дыша и высунув язык, понутив голову. Ему стыдно.

Слава гладит Бича:

— Что ж ты, товарищ, так обмишурился?

— Товарищ? — кричит Жора и пинает Бича голый пяткой, — Макнамара ему товарищ!

Мы собираемся. По нашим следам пройдут промывальщики, и мы оставляем им в могиле палатку, чтобы не тащить ее с собой. В кресте оставляем записку:

«Лежим в надпойменной террасе,  
Ищите золото в сберкассе!»

Ребята поймут, что когда мы уходили, у нас было хорошее настроение, но в ручье мизерные значки золота, и надежды на что-нибудь интересное нет. Мы уходим бодро, подтянув животы. Бич угрюмо плетется в стороне.

Но в конце долины подбазы нет, Володя где-то задержался, палатка наша оставлена, и мы, не солоно хлебавши, устраиваем ночлег на нагретой гальке, соорудив вокруг лежки навесы от ветра.

Сним урывками, сожжены все окрестные бревна, за дровами идти нет никакого желания, мы ждемся друг к другу, холодно, и только Слава Кривоносов бодр, поддерживает огонь и вообще подает личный пример. Мы и так знаем, что наш начальник — образец тундрового человека, мы просто удивляемся его выносливости. К утру, когда мы приготовились молча умирать, раздался тонкий цокот копыт.

## 9. ДЕНЬ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

*Маршрут двадцать седьмой, здесь читатель убедится, как важно иметь друзей на материке*

У лося был разорван бок, а из раны на животе вываливались внутренности. Медведю тоже досталось — он убежал по косе в чащу, хромая и ревя. Медведь был матерый и, наверное, поднаторевший в схватках. Такого огромного мы еще не видели. Он был двухцветным — половина черная, половина желтая. Пока Володя Колобов возился с карабином, он ушел в чащу. Лось крутил головой и не мог подняться. Это был молодой самец. Мы пристрелили его, чтобы он не мучался... Обычно лоси сильнее медведей, просто этот был неопытным.

Немного лосятины мы берем с собой, остальное Володя увозит на базу. Ему еще дается задание привезти хлеб.

У нас сегодня очень много работы. Обнаружен участок аномалии. Кажется, нам повезло. Ребята обрабатывают участок «Встречный-1», мы с Жорой — «Встречный-2». Сделали десять профилей с расстоянием по десять метров между каждым, на каждом профиле примерно по восемь-девять точек с пятиметровым расстоянием между ними. Стрелка на моем приборе колеблется у 65, хорошая отметка, обнадеживающая. Если в конце сезона ничего не будет лучше, мы

взорвём эту сопку. Мы посмотрим, что у неё внутри.

Делаем на костре шашлык из лосятины и часть мяса, завернув в бумагу, зарываем в гальку, на которой горит костер, получается отличное блюдо — мясо в собственном соку, лучше, чем в духовке.

Бич с нами. Когда уходили, привязали Бича, чтобы он остался на базе. Бич скулил, вырывался, обхватил лапами ногу Жоры — не пускал. Предчувствовал, что мы уходим надолго. И он все-таки сорвался с веревки и снова ходит в маршруты.

...Неизлечим я от дорог, неизлечим от путешествий. Все чаще думаешь о том, что поле кончится и придется выбирать другие маршруты, где не будет с тобой пеледонских ребят. И удивляешься, как раньше мог жить без этих ребят, без этих маршрутов. Но знаешь, что всегда будет в награду огонь костра. Сколько еще костров предстоит разжечь!

Приходим на подбазу, и Володя встречает нас улыбой до ушей. Мы знаем, что-то произошло: что?

— Только что были промывальщики. Они сказали, что на базе был вертолет. Промывальщики ушли, но оставили письма.

Слава получает одно письмо, Жора — одно, но зато толстое, как энциклопедический словарь,

студент Сережа Певзнер семь — от бабушки, от дедушки, от мамы, от папы, от жены.

Ребята разбредаются по палаткам читать письма.

Мне и Володе ничего нет.

— Тебе есть посылка, — говорит Володя.

Я собираю в кулак нервы и спокойно спрашиваю:

— Где?

— На базе.

До базы тридцать километров, и неизвестно, когда мы там будем.

Очевидно, что-то написано на моем лице, потому что Володя идет к Кривоносову и говорит, что на базе есть еще хлеб и к утру он смог бы вернуться.

— Езжай.

Володя седлает трех коней и уходит, погрузив на них образцы.

А я пока разбираю газеты. Тут есть и свежие, но в основном те, что были на базе и приготовлены для заворачивания образцов.

Вся наша база завалена комплектами журналов «Здоровье» и «Дошкольное воспитание» за три года. Кто-то из юмористов занимался снабжением нашей базы.

Уже ночь. Жора просит по компасу определить время. Азимут луны у меня давно уже засечен, и я примерно помню основные параметры.

Сейчас на компасе юго-запад 170 градусов. Значит, примерно два часа ночи.

— Без двадцати два, — поправляет Жора. Оказывается, часы у него в порядке, просто он хохмит от избытка хорошего настроения в связи с получением письма.

Я разжигаю огромный костер — ориентир для Володи. Кидаю в огонь несколько бревен — столб искр поднялся до неба. И вдруг слышу выстрел — это Володя увидел огонь, он где-то недалеко.

Все вылезают из палаток.

И вот Володя подъезжает, вручает посылку, Кривоносов кричит:

— Если там что-нибудь булькает, не трогать, береги до конца поля!

— Ладно.

Ухожу в палатку, ребята сильнее разжигают костер.

В посылке сорок пачек великолепных сигарет с фильтром «НВ», о которых я еще вчера мечтал как о необычном, бутылка итальянского «золотого бренди» и письмо с приветом всем ребятам партии и особенно Славе Кривоносову.

— От кого привет? — недоверчиво спрашивает Кривоносов.

Ах, черт! Я же совершенно забыл, что все делал втайне от Славы, еще тогда в Анадыре, когда он был «капитаном Рулли». Ах, черт!

Слава недоверчиво и подозрительно косится на письмо.

И я признаюсь.

Да, Слава, было дело, послал я девчонкам в ГИТИС (есть у меня там хорошие друзья), так вот послал я им приглашение к нам на практику и раструбил про наш театр, и выслал двадцать фотографий, и на каждой Кривоносов — вот он на сцене, вот в гримерной, вот отдельно, вот в коллективе, вот в набедренной повязке, вот играет на трубе... Но к нам они не поехали, далеко все же, поехали на «Мосфильм», а мне прислали письмо, и сигареты, и роскошный бренди, и приветы Кривоносову, хотя об этом я их совсем не просил, сообщил, чтоб не ждали писем: в поле я. И вот нашли все же, молодцы. Хотелся мне же минуту сделать им что-то такое, чтобы радовались, как я сейчас. И я перечитываю смешной и трогательный адрес: «Анадырь, геологическое поле, доставить...» мне. Представляю, как улыбались на почте. Но все-таки доставили! Сколько людей подчас причастно к радости одного человека...

— Читай! — рычит Кривоносов.

— «Все наши мосфильмовские дуры влюблены в Кривоносова...».

— Ну почему уж и дуры? — скромно возражает Слава.

— Не перебивай! «...особенно без ума от его

рук. Передают ему нежный привет и удивляются, как у такого пирата могут быть такие артистические и аристократические руки».

Слава потихоньку рассматривает свои руки. Мы тоже глядим на его руки, пока он достает головешку из костра и прикуривает. Руки как руки, ничего особенного. Мы в этом не понимаем, им там видней...

Мы блаженствуем. Мы курим сигареты. Костер у нас до неба, и нам хорошо. Мы вспоминаем тех, до кого сейчас очень далеко, ребята перечитывают письма, нам тепло, и мы счастливы. У костра на гальке стоит бренди.

— Давай! — машет рукой Кривonosов.

Мы открываем бутылку, разливаем по кружкам, разливаем так, чтобы хватило и по второму разу, и пьем за тех, кто думает о нас, когда мы далеко. Второй тост — за благополучное окончание сезона. Потом я сажусь за ответ, ребята диктуют, мы пишем весело и нежно.

В мыслях многие уже дома. Жора что-то рисует на крышке от ящика, привешивает табличку над входом в палатку. Колобов читает вслух:

— Меняю отдельную двухместную палатку со всеми удобствами на однокомнатную квартиру в Анадыре.

Мы, холостяки, не согласны. Мы с Володей Колобовым вывешиваем другую табличку на

палатке — «ВИГВАМ — ФИГВАМ! Вход по пригласительным билетам».

Нам хорошо, нам тепло. Мы долго не расходимся от костра.

А в чаше плачет ночная птица.

## 10. РАДИОГРАММА

*Маршрут тридцать первый, самый короткий и самый грустный*

С утра на базе переполох.

Сережа Рожков во время утреннего сеанса связи получил «рд» о том, что к нам в партию должна прилететь его жена Эля.

Элеонора экономист геологической экспедиции, и в нашей партии у нее дела. Но, помимо этого, она с весновки не видела Сережу, то есть почти пять месяцев.

Мы хорошо понимаем состояние Сережи.

И, кроме всего прочего, — ведь в партию прилетает женщина! Не хватало нам еще этих забот и волнений! Но прилет вертолета — это вообще праздник, и еще мы рады Сережиному счастью.

Сережа бреется, уходит в тундру и собирает для Эли огромную миску голубики. Стекла его очков радостно блестят. (Когда он грустит, очки понуро висят на кончике носа).

Каюр Афанасьич — сегодня его дежурство по кухне — замешивает тесто и печет пончики, чего за все время в нашем меню не было ни разу.

Я чищу дегтем сапоги и художественно штопаю штаны, и навешиваю две совершенно новые заплаты. Потом достаю свежую рубаху, которую берег к концу поля.

Слава Кривоносов больше положенного сидит перед зеркалом, подравнивает бороду.

Рабочие из отряда промывальщиков подметають территорию.

Сережа Певзнер достает где-то из глубины выючника невероятно мягкие джинсы, но без единой заплаты и вышагивает по территории базы аристократом.

Потом мы все пишем письма, много пишем, их увезет Эля — и улетит она в мир, с которым у нас почти нет связи.

На другой день соседняя партия подтверждает «рд» и прилет Эли. Но мы ждать ее не можем, дни хорошие, надо спешить. Кривоносов дает Рожкову еще два дня на ожидание, оставляет схему с подбазами и числами, когда мы на них должны быть. И мы уходим.

Через три дня, в темный дождливый вечер, нас догоняет Сережа. Оказывается, в самый последний момент запланированный нам вертолет

с грузом горючего направили в соседнюю партию, до которой было ближе.

Эля не прилетела.

Наши письма лежат на базе.

Мы молча пьем чай.

Осень.

## 11. НА КРАЮ ПЛАНШЕТА

*Маршрут тридцать седьмой, доказывающий очевидную пользу грибного супа и благородных поступков*

Изрядно вымокшие, мы пришли в намеченную точку — в конец нашего маршрута, но Володи там не оказалось. Никто не ожидал такого поворота дела. Мы натаскали дров, запалили громадный костер, повесили сушить шмутки, а сами голые прыгали вокруг него, как туземцы острова Тасмании на ритуальном празднестве.

— Все хорошо, — заметил Певзнер, это он вспомнил о туземцах, — а кого есть будем?

— Капитана Кука, — быстро сообразил Жора, так как по комплекции для съедения скорей всего подходил он сам.

Мы спали вокруг костра. Если грелся левый бок, то правый нестерпимо мерз. Так всю ночь и вертелись, как шапшлык на палочке.

Утром Володи не было. Отправились на поиски маршрутом, то есть работая в пути. По доро-

ге собираем грибы и ягоды. Вареные грибы и чай с ягодами — наш рацион.

Сентябрь...

Нежное солнце бабьего лета совсем не вяжется с нашим настроением, с нашей тревогой и озабоченностью судьбой Володи.

К вечеру второго дня собираем совет. В рюкзаках, кроме камней, ничего нет. Курева тоже. Володя неизвестно где. Грибы и ягоды совсем не поднимают энтузиазма. Много не пройдешь, если в желудке грустно, а на душе — кисло.

— Я пойду на базу, — говорит Кривоносов.

Мы молчим.

Каждый представляет, что это такое. До базы двадцать восемь километров самым кратчайшим путем. Там Славе надо будет взять продуктов на четверых, хотя бы на два дня и снова идти назад, почти не отдохнув. Пятьдесят с лишним километров отмахать по горам после двух дней тяжелой работы.

— Я пойду на базу. Вернусь к утру. Вы же выходите вот к этой стоянке, мы были там дней семь назад. Возможно, что-либо найдете. А может, и Володя там. Я выйду к этой стоянке утром, — говорит Слава.

Мы делим на троих его образцы, он берет пустой рюкзак и уходит. Восхищаться поступком Славы мы будем потом, а сейчас у нас нет даже желания разговаривать, и мы идем к давней

стоянке молча под грузом проб и неясных перспектив.

...На дневной стоянке собираем окурки, находим полсухаря. Я исследую реку и нахожу кусок мяса (каюр держал мясо в реке, чтобы не испортилось). Мясо вымокшее и тухлое.

— Ребята! — Я торжествующе размахиваю куском лосятины.

— Ура-а... — уныло бормочет Жора. Благодарные не сходили с его круглого лица, даже когда он был голоден.

— Смотрите, жир совсем сохранился, если его обрезать, — он белый, значит, свежий!

— Свежий, — соглашается Певзнер. — Посмотрите, он совсем новый!

Варим суп из грибов и обрезков мяса и жира.

— Ничего, есть можно! — Мы глотаем с отвращением, не глядя друг на друга. Остатки выливаем Бичу. Бич не ест. Я уверен, что еще год после поля никто из нас не прикоснется к грибам.

После чая с ягодами предаемся воспоминаниям.

— Вот намереди, то бишь перед полем, прелюбопытную книжицу довелось мне читать. Царского издания, дворянская книга, — говорит Жора. — Называется не помню как, но там о вкусной и здоровой пище. Несколько тысяч рецептов. И вот один из них формулируется примерно так:

«если у вас нет ничего под рукой, а вам надо кормить друзей, возьмите гуся, немного яблок, белого вина для подливы и нарежьте картофель тонкими ломтиками, не забывайте также про сливы и лимон». Если у вас ничего нет под рукой...

— У-у... гады! — рычит Певзнер. В нем просыпается классовое чутье.

...Всю ночь бодрствуем у костра.

Слава, как и обещал, пришел рано утром. Он как с неба свалился с огромнейшим рюкзаком.

— Спокойно, в порядке живой очереди. Сначала масло с чаем и печеньем и сахар. Потом будем готовить обед.

Чего только не принес Слава! Роскошней пира не было. Сгущенное молоко и тушенка, свежий хлеб и вермишель, масло, чай, сахар, папиросы «Север», сухая колбаса. То, что колбаса твердая как камень и плесневелая, роли не играет, все равно ее надо варить. И главный сюрприз — он принес палатку! А это лишних пять килограммов!

После обеда мы все наши образцы собираем в один мешок, привязываем его к дереву, чтобы видно было, и уходим искать Володю. Уходим в юго-восточный угол карты, на самый край планшета.

К вечеру за спиной четыре перевала, а Володи нет. Падает снег. Мы спешим разбить палатку.

Кругом очень красиво. Высокие деревья, глубокая долина, крутые сопки и нежный тихий, совсем новогодний снег, он падает откуда-то из темноты, неба не видно, снежинки тают в реке, тают и рядом с кострищем, не долетая до огня какое-то мгновение. Когда идет снег, геологам не до красот, они подсчитывают, какая часть планшета еще не закрыта и сколько еще шагать.

...Еще сутки прочь. Сегодня замыкаем кольцо, мы очень здорово проутюжили район, а завтра пойдем на базу, так как продукты уже на исходе, да и до базы отсюда сорок километров. От снега обувь разбухла, хлюпает в сапогах вода, я скрепляю подметки тем же способом, каким деревенские мальчишки приторачивают коньки к валенкам — при помощи палочки и веревки. Слава Кривоносов надевает на носки ботинок мешочки для образцов и туго связывает все это веревкой. Но наши ухищрения пользы приносят мало.

— Садись! — командует Слава Певзнеру.

Тот устало валится на землю.

Кривоносов снимает с него ботинки, достает из рюкзака свои запасные шерстяные носки, надевает их на Певзнера, обматывает его ноги сверху полиэтиленовой пленкой из-под аммонита, потом натягивает на него ботинки. Теперь Певзнеру обеспечена цветущая жизнь, теперь он не промокнет и не простудится.



Жора вслух подсчитывает все агентства мира, которые ну просто обязаны сообщить читателям о благородном поступке нашего Славы.

— «Ассошиэйтед Пресс» об этом сообщил бы так, — импровизирует Жора. — «В руках у капитана Рулли мелькнуло два кольца. Раздевайся! — рывкнул он Певзнеру. Испуганный Певзнер сел на землю и лихорадочно стянул с себя ботинки фирмы «СВГУ-СНАБ и Ко».

— Несчастный! — взревел капитан Рулли. — Что с тебя взять? — Он выстрелил два раза в воздух, достал роскошные носки и швырнул их Певзнеру. — Бери — и больше мне не попадайся!

Да, вы угадали, это был он, известный в прериях капитан Рулли Доброе Сердце».

— «Франс Пресс» сделал бы так, — говорит Певзнер. — «Мсье Кривоносов, известный покоритель женских сердец, шел по заснеженной тундре с грузом ажурных носков для прекрасных дам Анадыря. В трудную минуту, когда его коллега по контрабанде Серж Певзнер обнаружил беспорядок в туалете, а именно — прохудившиеся носки фирмы «Мама, бабушка и Ко», мсье Кривоносов выделил из неприкосновенных запасов прекрасную пару со стрелкой и черной пяткой и великодушно протянул их Сержу, ибо люди Кривоносова всегда должны появляться перед дамами в своем наилучшем виде. Таков

девиз любимца наших читательниц, и он верен ему до конца».

Слава грустно вздыхает:

— А в докладе на экспедиционном профсоюзном собрании это выглядело бы примерно так: «Встав на трудовую вахту и взяв повышенные обязательства, начальник партии Кривоносов поручил студенту-практиканту МГРИ комсомольцу Сергею Певзнеру ответственный маршрут и снабдил его всем необходимым. Маршрут был завершен, и годовой план выполнен. Работники детского сада, где воспитывался начальник партии, гордятся его благородным поступком.

Так держать, товарищ Кривоносов!».

Мы изголяемся друг над другом, вышучиваем, как можем, так нам веселей и легче идти. А про себя, наверное, каждый думает о неписанных законах братства, рожденного в пути. И еще о том, что составляет суть всего. Если ты не умеешь разжигать костер — не беда, научат; если ты в институте по специальным геологическим дисциплинам хватал двойки и тройки — не беда, тут тебя научат; если ты не знаешь, что делать, когда останешься наедине с тундрой — тоже не беда, эта наука приложится. Но если ты плохой человек — тебе в геологии делать нечего. Вот и вся, очевидно, специфика нашей профессии.

А что касается приличествующих случаю подвигов, то Слава тут категоричен:

— Все это мур... — рецензирует он виденное в кино и читанное о геологах. — «Шагай, геолог» и «крепись, геолог» — все это мур, хотя каждый из вас «солнцу и ветру брат»... Все так называемые «подвиги» от безалаберности, оттого, что кто-то не сделал правильно того, что должен был сделать, от несоблюдения техники безопасности, черт возьми! Иногда мелочь, скажем, промокшие спички, оборачивается ого-го чем! И никакой романтики я тут не вижу. А мелочей в нашей работе нет. И вообще, работать надо, а не совершать подвиги.

Самая высокая правда романтики — провести все поле без «чп».

Слава отдает Жоре бинокль:

— Вон, смотри: в редколесье Мальчик. Это его тощая фигура. Значит, там на косе палатки и Володя.

Мы спускаемся вниз и через час стреляем. В ответ на выстрел слышим три выстрела из карабина. Володя здесь! Мы идем на выстрелы.

...У Володи обреченный вид. Он думает, что мы накинемся на него и начнем ругать. А мы знаем, что за это время он и так извелся.

— Ребята... — говорит Володя, — я вам ландорики приготовил.

Он снимает полотенце, и мы видим большую грудку лепешек, здоровых лепешек, величиной со сковородку.

— Ребята... хорошие ландорики... по-пеледонски... ешьте... хорошие ландорики...

— Эх ты... ландорик! — с укоризной, но нежно говорит ему Слава.

Оказывается, от лошадей отбилсЯ Ганнибал. Володя искал его, потерял целый день, и весь распорядок движения был нарушен. Помня инструкцию, он разбил лагерь и больше не двигался с караваном, только жег сигнальные огни, но нам огни были не видны, мы бродили за очень высокими отметками.

Володя рассказывает все новости, которые произошли в мире за это время. У него «Спидола», и мы изголодались по новостям.

Боже, какое удивительное изобретение — спальный мешок! Лучше оленьего кукуля ничего еще человечество не придумало. В тепло! Спать, спать, спать...

## 12. ВАЛЕМАР И ВЕНСЕРЕМОС

*Маршрут тридцать девятый, с которым полевой сезон еще не закончился*

Мы в самом дальнем юго-западе нашей карты. Мы очень растягиваем наши маршруты. Мы хотим в оставшееся время сделать как можно больше, мы боимся зимы.

Вчера мы вышли сюда, отправив каюра на базу, и сегодня ночуем без палатки. Володя Колобов должен поставить промежуточную подбазу в одном дне пути отсюда. Мы завершаем круг, и до основной базы будет не так уж далеко.

Опять валит снег, а работы осталось еще недели на две. Но это заботы завтрашнего дня, а сейчас пора подумать о ночлеге.

Мы в высоком лесу на берегу реки. Речная галька уже хорошо прогрета костром. Остальное не так сложно. Слава Кривоносов вырубает из чащи четыре жерди, каждую пару скрепляет в вершине буквой «л», на распорки кладется пятая жердь, соединяющая два «л» в вершине; остов шалаша готов. По бокам еще две жерди, чтобы удобней было делать стены из стланика и веток с широкими листьями. Пол шалаша мы тоже устилаем ветками. Потом забираемся в наше прекрасное жилье. Снизу достаточно пригревает, а вообще, пока еще холодновато. Потом станет тепло, это мы знаем. Снег засыпает наш шалаш, ветер уже не проникает. Те, у кого более теплая одежда, лежат с краю, остальные в середине. Мы лежим, тесно прижавшись друг к другу, — Кривоносов, Певзнер, я и Старцев.

Мы только что поужинали — на всех котелок вермишели, круг сухой колбасы и чай без сахара. Больше ничего не осталось. Но если верми-

шель варить долго, она очень разваривается и ее получается много. Мы мечтаем завтра утром убить оленя.

— Ну вот и все, — говорит утром Слава, водя по карте тупым карандашом. — Мы обработаем этот кусочек, вы пойдете сюда. Подбаза не понадобится, если не прохладиться, все можно успеть. Встречаемся на базе. Ну, а если не успеете или мы задержимся — вот тут лабаз...

Мы согласны с его планом. Мы готовы работать до одури, только бы вернуться из маршрута на базу. Мы не были на ней больше месяца. А там наконец отдых, и тогда останется совсем немного. Мы прощаемся и расходимся по своим маршрутам: Кривоносов и Певзнер по водоразделу на северо-восток, мы со Старцевым на восток, потом на север, потом чуть-чуть на запад. У нас круг немного больше, мы вчера не успели из-за темноты полностью закончить маршрут.

Вечереет. Мы свое отработали. Мы сидим у костра и пьем несладкий чай. Удивительно, но есть совсем не хочется. Или оттого, что очень устали, или потому, что твердо знаем — сегодня будем на базе.

Я тщательно упаковываю бумажные пакетики

с металлометрическими пробами, заворачиваю их в полиэтилен, чтобы — чего доброго! — не промокли часом.

— Советская металлогения достигла таких высот, — повторяет Жора излюбленную шутку своего институтского профессора, — что с них не видны отдельные месторождения.

Не хочется вставать. Не хочется идти.

— Ну, говоря шершавым языком плаката, еще напор — и враг бежит!

Поднимаемся. Идем быстро. Я вспоминаю упряжных собак. Вот так же и они — полдня еле плетутся по глубокому снегу, но стоит им увидеть ярангу, откуда только силы берутся — несутся со всех ног!

— Посвети! — просит Жора.

При свете спички он смотрит на компас, веряет его, идем мы по азимуту. Ночь.

Через час где-то за лесом мы видим ракету. Это нам сигналият с базы. Жора по компасу засекает, откуда взлетела ракета. Мы идем, продираясь сквозь кусты, одежда на нас трещит. Хлещет дождь. Мы вымокли, но нам жарко. Кажется, что из зарослей карликовой березки, из этих чертовых джунглей никогда не выбраться. И дождь уже не дождь, а бесконечный ливень. Я уже не уверен, правильно ли мы идем, но Жора уверяет, что выйдем из леса точно. Я ему верю: он здорово ходит по компасу.

И вдруг неясный шум. Шум сильнее. Это река.

— Пеледон, — вздыхает Жора. — Все.

Я не узнаю реки. От дождя и снега она вздулась, разлилась, и огонек нашей бани далеко-далеко на противоположном берегу. Слышны голоса ребят: ребята моются. Нам чертовски завидно. Кричать, чтобы готовили для нас резиновую лодку, — бесполезно.

— А, не все ли равно, мы же и так вымокли до нитки!

Жора соглашается. Он снимает пистолет, сумку, берет мой карабин, поднимает все над головой. Я поднимаю прибор (рюкзак — черт с ним, камни не промокнул), и мы осторожно идем, беря курс на баню. Но течение сильное, нас потихоньку относит. На противоположный берег вылезаем по горло в воде. Уф!..

Встречают нас радостным гвалтом:

— Давайте в баньку, ребята!

— Ну уж фиг! Одну мы уже приняли!

Нас ведут прямо на кухню. Приносят со склада сухую одежду. Мы тут же у стола переодеваемся. Наливают нам невероятные порции. Тут и первое, и второе, и омлет из яичного порошка, и все виды консервов, и хлеб и блины, чай и компот, — чего только душа пожелает!

Мы вглядываемся в лица друг друга. Мы очень долго не видели наших промывальщиков. Наконец-то мы все вместе.

— Вертолет был?  
— Нет.  
— Какие-нибудь новости есть?  
— Утром Рожков был на связи. Ничего нового. Все партии уже перегоняют лошадей.  
— А мы?  
— Нам тоже придется. Ничего не поделаешь, время поджигает.

У ребят хорошее настроение. Никаких крупных «чп». Поле заканчивается нормально. Все похудели, кроме толстяка Жоры. У всех, кроме Сережи Рожкова и Володи Гусева, роскошные бороды. Ну прямо пираты с острова Сокровищ!

Дорогие мои барбудос! Что я буду делать без вас, когда поле кончится? И неужели оно когда-нибудь кончится?

Тот, кто не испытал по-настоящему великой силы товарищества, никогда не был счастлив. И кажется, никогда мне не было так хорошо, как сейчас, в эту дождливую осеннюю ночь на берегу Большого Пеледона, рядом с товарищами, с которыми можно хоть сейчас шагать на край света и даже дальше.

Я знаю, что скоро все это я буду вспоминать. Будут в прошлом дни и ночи Большого Пеледона — и снег, и усталость, и голод, и пятый перевал, и безудержная радость встреч. Значит, надо изучать и запоминать эти дни и ночи. Ведь ког-

да-то этого не будет. И я буду вспоминать запах ветра, звон комаров, цвет снега, и туман на перевале, и шум падающих с лиственниц мокрых снежных комьев, и тепло вечернего костра. Буду ли я все это так же остро чувствовать потом, когда все это станет в прошлом?

Теперь я знаю, как рождается верность Северу. Наверное, у каждого северянина есть свой маленький «Пеледон».

Утром принимается решение — территорию, на которую приходится остаток карты, обрабатывать без лошадей. Значит, необходимо завезти туда продукты, устроить несколько лабазов. На трех лошадях в места будущей работы увозится все необходимое. Остальные три лошади развозят аммонит к сопке, которую будем подрывать, и на места шурфовочных работ. Всем этим делом занимаются промывальщики, они уже несколько дней на базе, а мы только вернулись. Видимся мы редко, вот почему я почти не пишу об их отряде.

Когда лошади все сделают, их отправят на конбазу. На перегон лошадей выделяют троих. Пока известно, что один из них — каюр поискового отряда Афанасьич. Двое других будут добровольцами.

А вдруг будет много желающих? Иду к Славе.

— Пойдут Афанасьич и Рожков, и... — Он неопределенно пожимает плечами.

— Слава, в воронежских очередях есть такой диалог: «Вы за ком?» — «Лично я — за нем».

— Намек понят, — отвечает Слава. — А ты знаешь, что такое болота у реки Убиенки?

— Да уж и по названию можно вполне представить!

— Будет много груза, будет тяжело.

— С Сережей я согласен идти куда угодно. Он молчит.

— Слава, я никогда в жизни не перегонял лошадей. Понимаешь, никогда!

— Точно так же ты никогда не был в Гренландии, — смеется Володя Гусев.

— ...И в Гренландии не был, — повторяю механически, растерянно. Очевидно, у меня совершенно дурацкий вид.

— Хорошо, — наконец говорит Кривоносов, — собирайся. Выход послезавтра.

Радостный выскакиваю из палатки.

— Ребята, готовьте письма! (На пути нашего перегона будет село Ламутское, и там можно всю почту отправить).

Володя Колобов заготавливает для кухни дрова. Он не спешит писать письма. Ему писать некому.

— Как же ты теперь будешь без своих лошадок, Володя?

— Фи, видишь, какая теперь у меня техника! — Он показывает на лом и лопату. — Прилетит начальство, посмотрит на мою работу, спросит: а кто это у вас такой самый главный ударник комтруда? Я скромно отвечу: я, Колобов моя фамилия, инженер-шурфовщик, логограф! И отвали. Начальство сразу в один голос: дать ему премию! Ну, а с премией я экстренно прошу вертолет, чтоб лететь в Анадырь. Там, мол, в магазинах уже очередь на меня заняли. Так что, если раньше нас придешь, занимай на меня очередь в магазине или столик в ресторане.

На том и порешили.

Володя Гусев склонился над картой. Теперь в спокойной обстановке камералки можно аккуратно тушью вписать названия на карту. Названия нашим ручьям. Они были раньше безымянными, мы их изучили детально, и за нами право присваивать им имя. Ручьи большие, как реки, до десяти-пятнадцати километров в длину, очень широкие, особенно в устье. Скольким ручьям, рекам и сопкам дал название за двадцать лет своего колымско-чукотского стажа Володя Гусев?! Так ведь можно и устать от этой работы!

Я смотрю на названия и вспоминаю наши ручьи. Право называть их Володя предоставил мне. Я ему за это очень благодарен. Места, кото-

рые ты назвал, как твои родные дети. Ты будешь думать о них и обязательно к ним вернешься.

Вот ручей Венсеремос. Он очень тяжело дался нашим промывальщикам. И нам тогда было очень несладко. А каюр Афанасий заблудился и поставил палатки на девять километров южнее. И пришлось идти к нему маршрутом, удлинять день, когда подкашиваются ноги и моросит дождь, и хмуро на душе. Это было 26 июля: в годовщину кубинской революции, и я назвал его Венсеремос — «мы победим» с испанского.

Ручьи Кин и Ясенский. В честь очень хороших писателей. Мы в тот вечер долго сидели у костра, вспоминали «По ту сторону» Кина и его незаконченный роман «Журналисты», цитировали стихи Ясенского, вспоминали эпизоды из романов его и куски прозы, которые были как стихи.

«Поезда идут на север средь седых слегка лесов. Поезда идут на запад. Поезда идут на юг. Поезда вращают землю, словно белка колесо. Танец начат. Сосны скачут. Люди плачут. И поют».

И думали тогда мы о том, что справедливость все-таки бессмертна.

...Ручей Валемар, в честь очень славной девочки в Анадыре, Валерии Мартыновой общей любимицы. Это подарок ей в день рождения.

...Ручей ВИК. Назвали так втайне от нашего

начальника, расшифровывается как «Вера Ивановна Кривонососа», мама Славы.

Будут наши ручьи на всех картах нашего масштаба. Другие геологи будут читать наши названия и вписывать в свои карты свое дорогое.

...Я выгружаю на лежак содержимое рюкзака. Тут и обсидиан, и куча разноцветных халцедонов, обкатанный базальт, красная яшма, кварцевые друзы. Я заболел камнями. У меня даже походка выработалась новая — ходить, опустив голову, смотреть в землю. Знаю, что даже в городе еще долгое время буду смотреть себе под ноги и даже на булыжники глядеть настороженно.

...Утро.

Все готово в дорогу.

Мы прощаемся.

Наш караван медленно переходит Пеледон.

Мы выходим из реки и останавливаемся. Ребята собрались на противоположном берегу. Я хочу их сфотографировать, но вовремя вспоминаю, что это плохая примета. Тогда мы снимаем карабины и салютуем на прощание. Ребята нам отвечают тем же.

На той стороне Пеледона, в густом лесу, на первой же чаевке я достаю компас и сверяю его

с картой Сережи Рожкова. Этот компас он подарил мне в самом начале сезона, выцарапав ножом на черной крышке «Дарю тебе азимут — выбирай любой!»

Это на тот случай, если мне придется ходить одному. Но сейчас мы идем вместе. Впереди одиннадцать дней бесконечной тундры, болот и крутых перевалов. Надо успеть к устью реки Убиенки, иначе уйдет баржа и мы останемся на зимовку. Мы спешим. Мы сверяем часы и компасы. И я рад, что у нас с Сережей один азимут на двоих.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

А потом случилось так, что поле кончилось. Те, кого ждали, вернулись к тем, кто ждал, другие возвращались в свой холостяцкий неуют, но все собирали рюкзаки для новых походов...

## СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОВЫ МОИХ ДРУЗЕЙ. Рассказ . . . . .	7
ОЧЕНЬ ЖАРКО. Рассказ . . . . .	32
СТРАННЫЕ ДНИ ХАН-ГИРЕЯ. Рассказ . . . . .	47
ЭТОТ ВРЕДНЫЙ МАЛЬЧИК ШИШКИН. Рассказ . . . . .	61
ДВА МОРЖА. Рассказ . . . . .	77
ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМНОЙ ШАР. Повесть . . . . .	87



МИФТАХУТДИНОВ Альберт Валеевич

ГОЛОВЫ МОИХ ДРУЗЕЙ. Рассказы. Повесть.

Редактор В. И. Геллерштейн. Художник В. И. Кошелев. Художественный редактор И. Е. Фомин. Технический редактор В. В. Плоская. Корректор М. Л. Лисицына. Сдано в набор 9/VI 1969 г. Подписано к печати 28/VII 1969 г. АХ—00959. Формат 60×90/32. Объем 5,5 физ. п. л., 5,0 уч.-изд. л. Заказ 3808. Тираж 30 000. Цена 15 коп. Бум. тип. №2. Магаданское книжное издательство г. Магадан, ул. Пролетарская, 15. Магаданская областная типография Управления по печати, пл. Горького, 9.



**Мифтахутдинов А.**

**М 68    Головы моих друзей. Повесть. Рассказы.  
Магадан, Кн. изд., 1969.**

**176 с. 30 000 экз. 15 к.**

Это вторая книга молодого магаданского писателя. Она — о Чукотке, о ее мужественных людях. Даже увиденные автором в Москве скульптурные бюсты этих людей, друзей автора, их гипсовые головы, наводят его на мысль, что Чукотку, ее снега забыть нельзя, как самого себя.

7—3—1

20—69—М

**РГ**